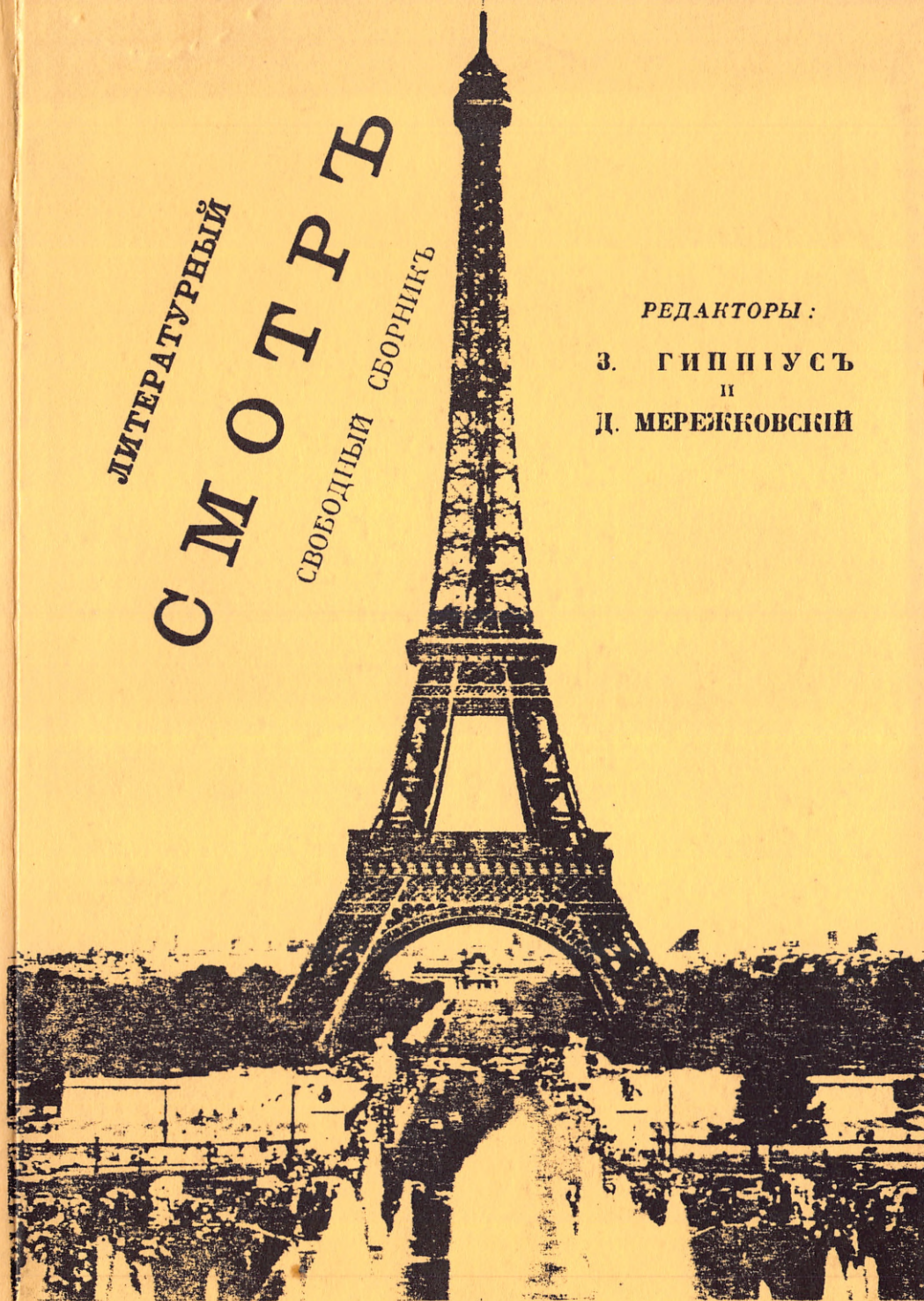


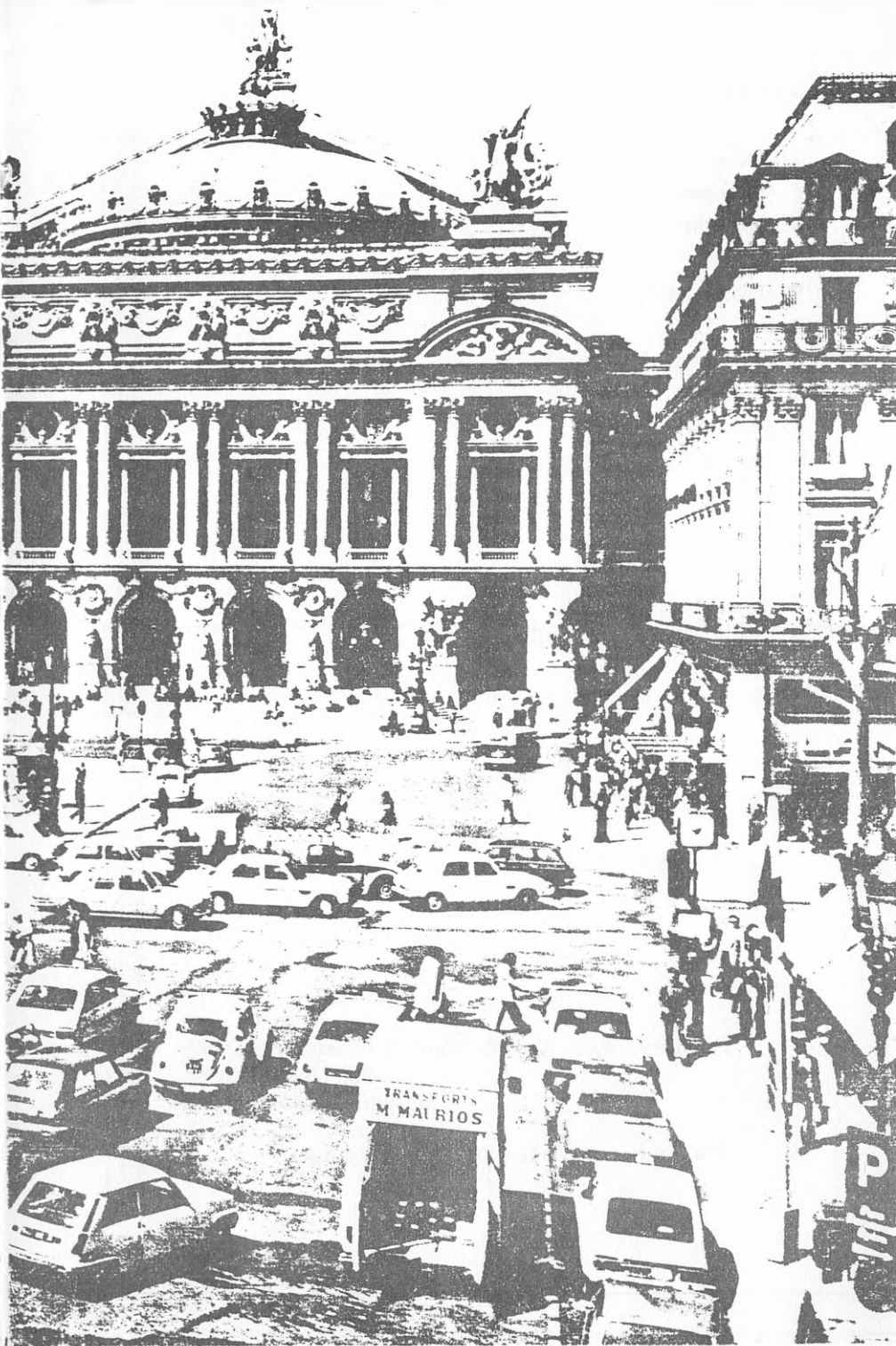
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СМОТРЪ
СВОБОДНЫЙ СБОРНИКЪ

РЕДАКТОРЫ :

З. ГИППИУСЪ
И
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ



ПАРИЖЪ



А в т о р ы с б о р н и к а :

З. Гиппиус

Г. Адамович

В. Мамченко

Ю. Фельзен

Ю. Мандельштам

Дион

Л. Кельберин

Ю. Терапиано

В. Зензинов

В. Червинская

В. Злобин

Tous droits réservés

Copyright 1939 by the author

Copyright © *MCMLXXXIII* *New England Publishing Co.*

All rights reserved.

Published by: New England Publishing Company
728 Hampden St.
Holyoke, MASS. 01040

Printed in the United States of America



ЛИТЕРАТУРНЫЙ

С М О Т Р Ъ

СВОБОДНЫЙ СБОРНИКЪ

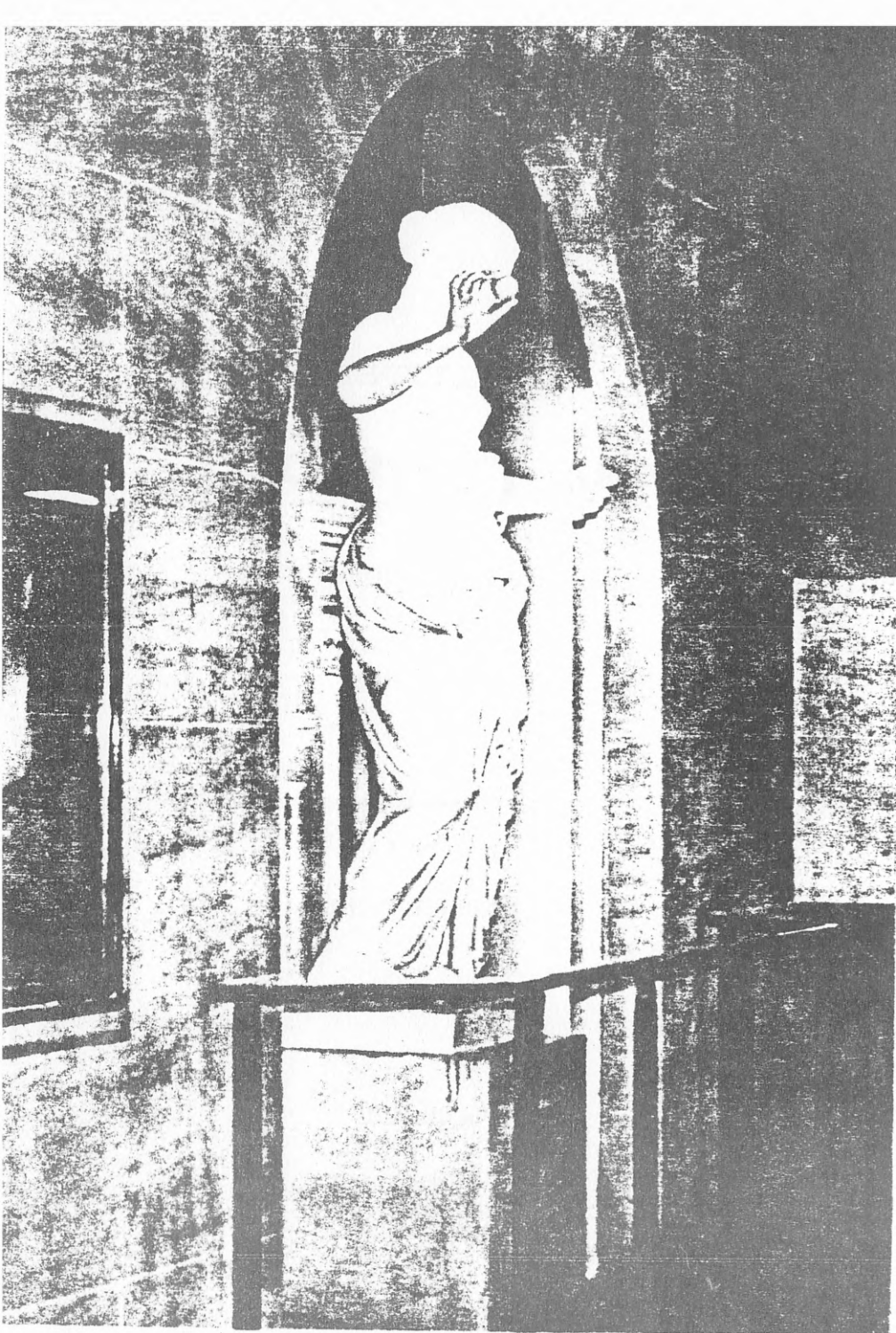
Второе издание

РЕДАКТОРЫ :

Э. ГИППІУСЪ
и
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ

„ЛАМПИОН“

New England
Publishing Co
Holyoke · 1983



ОПЫТЪ СВОБОДЫ

«Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?»

Тютчевъ.

Эта книжка — не обычный сборникъ; ея основы, условія ея рожденія, особенныя.

Она — первый опытъ свободы слова.

Каждому участнику дана въ ней полная свобода сказать все, что онъ хочетъ и какъ хочетъ. Самъ беретъ онъ любую форму, любое содержаніе и самъ — одинъ — за написанное отвѣчать.

Но это былъ бы беспорядочный сборъ, не будь «редактора». Только у редактора права и обязанности тоже особенныя: онъ не выбираетъ произведеній, онъ выбираетъ людей, — авторовъ. Каждый, разъ выбранный, берется безусловно: онъ воленъ печатать то, что пожелаетъ. Ни о редакторскихъ поправкахъ, ни даже совѣтахъ, — нѣтъ и рѣчи: матеріалъ печатается въ томъ видѣ, въ какомъ даетъ его авторъ.

Это положеніе требуетъ большого довѣрія редактора къ авторамъ, и обратно. Довѣріе — всегда рискъ. Но и весь этотъ литературный «опытъ свободы» — рискъ; особенно сейчасъ, въ здѣшнихъ нашихъ условіяхъ: о нихъ рѣчь ниже. Мы, — и редакторъ, и авторы, — не обманываемъ себя: врядъ ли окажется этотъ первый опытъ тѣмъ, чѣмъ долженъ и *могъ бы* оказаться — (даже съ тѣми же участниками), — уже потому, что онъ *первый*. Но это не заставить насъ отступить: чтобы былъ второй, третій опытъ, надо же когда нибудь сдѣлать первый. И мы слишкомъ вѣримъ, что они пужны, что для всякаго, чье «сердце хочетъ высказать себя», необходимо сознаніе своей свободы. А писатели — не тѣ ли именно люди, для которыхъ главный вопросъ жизни въ этомъ: «какъ сердцу высказать себя? Другому — какъ понять тебя?»

Въ полнотѣ это недостижимо и для гениа: Тютчевъ правъ. Но есть свой предѣлъ полноты для каждаго писателя, — и гениальнаго, и крупнаго, и менѣе крупнаго, — къ которому онъ непремѣнно стремится. Можеть его не достигнуть. Но можеть и достигнуть, и тѣмъ скорѣе, чѣмъ раньше началъ учиться писать (какъ «учатся» и художникъ и музыкантъ) и — въ условіяхъ свободы.

* * *

Кто участники этой книги?

Они принадлежать къ наиболѣе широкому кругу литературной парижской эмиграціи, къ слѣдующему за «старшимъ» поколѣнію. Иные уже писали въ Россіи; другіе начали здѣсь. Эти успѣли проявить себя, болѣе или менѣе, въ 20-хъ годахъ, когда еще была для нихъ кое-какая возможность высказываться въ печати. Но незамѣтно наступила другая эпоха. Русская пресса сжалась, измѣнилась и количественно, и качественно. Къ половинѣ 30-хъ годовъ у насъ оказалась одна единственная газета (съ ся собственнымъ журналомъ), и одинъ уцѣлѣвшій, толстый журналъ, выходящій разъ въ 3-4 мѣсяца. Такимъ образомъ, возможность печататься, (да еще свободно) для большинства «молодыхъ» — отпала. (*)

Толстый трехмѣсячный журналъ, признающій, по традиціи, неизбѣжность «язящій литературы», беретъ порою «художественную» прозу молодыхъ (если нѣтъ подъ рукой другихъ, завѣдомо признанныхъ). Но съ большимъ выборомъ и не стѣсняясь поправками, или урѣзками; изрѣдка проходитъ маленькая рецензія: тема и содержаніе должны, однако, быть заранѣе одобрены, если не указаны, редакторомъ. А замѣтимъ, что ни одинъ изъ редакторовъ существующихъ изданій собственно къ литературѣ касательства не имѣетъ, (какъ оно, впрочемъ, и раньше бывало).

Болѣе терпимъ старый политическій журналъ къ стихамъ: много мѣста стихи не займутъ, вещь они всегда безобидная, а старыхъ стихотворцевъ все равно не осталось. Кстати: уже не оттого ли и развелось у насъ столько «поэтовъ»? Стихи всетаки можно напечатать, и даже крошечную — «поэтическую» — книжечку можно выпу-

*) Эмиграція армянская куда счастливѣе русской: у нея, кромѣ другихъ періодическихъ изданій, въ одномъ Парижѣ три еженедѣльника, большаа еженедневная газета и три толстыхъ

стить.

Ну а писатели со склонностью и способностью къ мысли, къ другимъ формамъ слова, — критикѣ, философiи, къ статьямъ всякаго рода, — имъ что дѣлать? Писать для себя, у себя въ углу? Пустое! Такъ не бываетъ, а еслибъ и было — *такъ* писатели не вырабатываются. И они попросту замолкли (*).

Писатели, едва успѣвшіе проявить себя, замолкли, а жизнь, — и такая полная смѣнъ и событий! — идетъ впередъ; «человѣкъ» въ писателѣ движется вмѣстѣ съ нею, — можетъ быть, вырастаетъ; у него новый опытъ, постоянно прибавляющій что-то къ его мыслямъ, взглядамъ и чувствамъ; но какъ писатель — онъ остановился на моментѣ, когда пересталъ высказываться. Его мысли, чувства и ощущенія постепенно «слеживаются» въ немъ, какъ вещи въ плотно набитомъ, годами неоткрываемомъ сундукѣ. Обладатель его уже начинать и забывать, что тамъ есть, чего нѣтъ...

По привычкѣ, повторяетъ обычныя жалобы: «негдѣ ничего сказать! Вотъ если бы...» А предложитъ такому мечтателю внезапно, вдругъ: «пожалуйста, вотъ вамъ мѣсто, говорите свободно, что хотите!» — онъ растеряется, бросится къ сундуку, но останется недвижимъ, съ тайной, ужасной (и невѣрной) мыслью: «а вѣдь мнѣ нечего сказать!» Но стоило бы мужественно открыть сундукъ, перетрихнуть вещи, хоть ближе лежащія, и нужное навѣрно бы нашлось!

* * *

Не всѣ, однако, изъ того же круга и того же поколѣнія, окончательно замолкли: нѣмъ (меньшинству) удалось приспособиться къ даннымъ условіямъ русской

журнала (а всего то армянскаго народа, считая и оставшихся въ Арменіи, не больше 3-хъ милліоновъ).

*) Справедливость требуетъ отмѣтить: недавно созданныя извѣстнымъ общественнымъ дѣятелемъ И. И. Бунаковымъ собранія «Круга», куда приглашена (съ выборомъ) и литературная «молодежь», выпускаютъ (увы, — разъ въ годъ!) небольшіе сборники участниковъ собраній. Но сборники эти редактируются даже не единолично, а «коллегіей» (что вполнѣ соответствуетъ общимъ взглядамъ инициатора). Онъ, можетъ быть, и не знаетъ, что въ дѣлахъ литературныхъ коллегіальное управленіе становится подчасъ горшимъ единоличнаго. По-

печати. Удача счастливая, ей, по истинѣ, можно радоваться: это вѣдь не «совѣтская» печать, между здѣшнимъ «приспособленіемъ» и тамошней гиперболикой никакой параллели провести нельзя. Но, какъ оно съ извѣстной стороны, ни хорошо, какъ ни велики бываютъ вышнія различія въ судьбѣ замолкшихъ и пристроенныхъ, — собственно писательская судьба тѣхъ и другихъ одинакова. Пристроенный пишетъ, (много, подчасъ слишкомъ много) и оттого пишетъ все лучше и лучше: онъ учится, онъ уже прекрасно справляется съ языкомъ, при большомъ талантѣ и со стилемъ; онъ можетъ овладѣть всей (очень важной!) техникой письма. Но — кто онъ? Дѣйствительный писатель? Настоящій? Такой, какимъ былъ «задуманъ»?

Вообразимъ себѣ какого-нибудь писателя, задуманнаго напримѣръ Бѣлинскимъ или Герценомъ (т. е. Бѣлинскаго или Герцена въ потенціи). Или — для ясности — вообразимъ поэта, задуманнаго, какъ Некрасовъ, которому пришлось бы ежедневно писать забавные стишки, сообразованные съ направленіемъ газеты. Что осталось бы въ немъ отъ Некрасова черезъ нѣсколько лѣтъ подобнаго упражненія?

Если писателю, «сердцу» его, не дано «высказывать себя», и онъ это знаетъ, чувствуетъ, все время (пусть безсознательно) считаясь съ редакторскими заданіями, онъ постепенно перестаетъ даже думать о «своемъ». У него такъ же «слеживается» его собственное добро въ запертомъ сундукѣ. Такъ же остановится онъ, предложивъ ему написать что-нибудь на полной свободѣ; и, если умень и добросовѣстенъ, спроситъ себя съ сомнѣніемъ: «могу ли я еще написать что-нибудь настоящее, что было бы искусствомъ, а не ремесломъ?»

Да, и это не прощается. Въ обонхъ случаяхъ, — проявляетъ ли себя писатель несвободно, не проявляетъ ли вовсе, — его талантъ и способности хирѣютъ; могутъ и совсѣмъ сойти на нѣтъ.

Пусть не говорятъ мнѣ, что въ Россіи, молъ, ни-

правки, урѣзки... все это оказывается неизбѣжнымъ. Такъ или иначе, сборники «Круга», слѣдуя традиціоннымъ путемъ общей печати, атмосферы свободы не создаютъ; это хорошо извѣстно участникамъ и собраній, и печатныхъ выпусковъ. Мы готовы, однако, отдать должное добрымъ намѣреніямъ инициатора, тѣмъ болѣе, что иные сборники довольно удачны, какъ напримѣръ послѣдній.

когда не было свободы слова, а какой высоты достигла наша литература! Нужно ли въ сотый разъ повторять, что дѣло не въ абсолютной свободѣ (абсолюта вообще и нигдѣ не можетъ быть, ибо все относительно); мы говоримъ о той *мѣрѣ* свободы, при которой возможна постоянная борьба за ея расширеніе. Довоенная Россія такой *мѣрѣ* во всѣ времена отвѣчала: даже при Некрасовѣ (его борьба съ цензурой велась открыто и успешно); о годахъ новаго вѣка нечего и говорить. Что же касается цензуры редакторской, то, при множествѣ разнообразныхъ газетъ и журналовъ и при постоянномъ появленіи новыхъ, молодой писатель всегда могъ найти себѣ подходящее мѣсто. И находилъ.

Но признаемъ: общая свобода въ Россіи прогрессировала медленно, и понятіе ея медленно входило въ душу русскаго человѣка. Онъ, — не писатель только, а вообще русскій человѣкъ, — не успѣлъ еще ей какъ слѣдуетъ выучиться, когда всякую школу захлопнули. Если бы не слишкомъ рано захлопнули, невозможно было бы, думается, и все пылѣвшее, уже двадцатилѣтнее, состояніе Россіи: вѣдь невозможно оно, даже невообразимо, въ Англіи или во Франціи, или гдѣ угодно. Русскій человѣкъ не достоинъ, конечно, тѣхъ глубинъ физическаго и духовнаго рабства, въ которыя сейчасъ Россія спущена; но что онъ въ свое время свободѣ не научился, не доучился, и даже здѣсь, въ Европѣ, пока что, до ея настоящаго пониманія не дошелъ, — на это незачѣмъ закрывать глаза.

Русскій человѣкъ (все равно кто, хотя бы и старый интеллигентъ-свободникъ) — еще не понимаетъ, на примѣръ, что атмосфера свободы дается лишь тому, или тѣмъ, кто самъ свою свободу, — свою собственную, — умѣетъ ограничивать; и самъ за это, и за себя, отвѣчаетъ. Правда, въ послѣдніе годы и Европа стала терять пониманіе свободы: точно вихрь какой-то носится надъ ней, вихрь неистоваго упоенія рабствомъ. Но это болѣзнь; а русскій человѣкъ, можетъ быть, еще и не доходилъ (не успѣлъ дойти) до европейскаго пониманія. Оттого ему и здѣсь, въ эмиграціи, — міровыми вихрями мало и захваченному, — безъ свободы и отвѣтственности какъ то спокойнѣе, привычнѣе. Онъ можетъ этого не сознавать, но оно такъ.

Почему писатели будутъ исключеніемъ? И они такіе же русскіе люди. Даже у тѣхъ, у кого Россія не въ памяти — она въ крови. И у нихъ запрятано гдѣ то темное ощущеніе «безпризорности», если они на полной

свободѣ...

Что же, однако, дѣлать? Говорятъ, чтобы научиться плавать, надо сразу броситься въ воду. Да, а все же сразу далеко не уплывешь; и тутъ опять одна изъ причинъ вѣроятной неудачи нашего перваго опыта: перваго свободного смотра силъ средне-молодой литературы.

* * *

Есть еще нѣчто, что необходимо учитывать и необходимо подчеркнуть: повседневныя условія жизни молодыхъ литераторовъ. Условія давно извѣстныя, только въ нихъ обычно не вдумываются: да, молъ, печально, но что-жъ дѣлать, и все такъ! Пожалуй; но мы заговорили о писателяхъ, о молодой здѣшней интеллигенціи, на ней и остановимся.

Когда бывший военный, офицеръ, дѣлается шоферомъ такси, это не такъ ужъ плохо: воевать и служить ему все равно негдѣ, нѣтъ ни войны, ни русскаго полка. Но если молодой интеллигентъ, со склонностью къ умственному труду и со способностями или талантомъ писателя, убиваетъ себя то на малярной работѣ, то дѣлается коммивояжеромъ по продажѣ рыбьяго жира для свиней (не спасаясь этимъ отъ «saisie» и послѣдовательныхъ выселеній изъ прислужныхъ чердачныхъ комнатъ) — это дѣло, какъ будто, иное. Между тѣмъ, за рѣдкими исключеніями, (въ числѣ ихъ устроившіеся при а-литературныхъ редакторахъ) вся эта интеллигентная «молодежь» живетъ именно въ такихъ условіяхъ, съ разными рыбьими жирами для свиней.

Мнѣ возразятъ, что и въ старой Россіи начинающій писатель не могъ жить литературой; и что нѣкоторые изъ большихъ нашихъ писателей терпѣли, въ юности, жестокую нужду, — Некрасовъ, напримѣръ. Это возраженіе легко отвести уже потому, что русскіе въ Россіи — одно, а русскіе въ чужой странѣ — совсѣмъ другое. Тогда, тамъ, отдѣльные начинающіе писатели могли гибнуть (и гибли, вѣроятно), но чтобы гибло цѣлое литературное поколѣніе, — объ этомъ и мысли быть не могло. А сейчасъ, ввиду однихъ матеріальныхъ условій, можно опасаться и этого (*).

*) Въ тѣсной связи съ тяжкими матеріальными условіями находится и другое печальное обстоятельство, бѣда молодого зарубежнаго поколѣнія. О ней очень сознательно говорить одинъ изъ писателей этого поколѣнія, самый, кажется, моло-

Къ сожалѣнію, извѣстный слой эмиграціи, оченъ отзывчивый на общую бѣженскую панику, мало заботится и думаетъ о судьбѣ литературы, — той, съ которой молодое поколѣніе могло бы вернуться въ Россію; оставляетъ его представителей работать со свиньями въ рыбьемъ жирѣ, удовлетворяясь существующей традиціонной, а-литературной, русской прессой. Типъ кое-что понимающаго, культурнаго мецената безслѣдно (и безстыдно) исчезъ.

Все это, вѣроятно, естественно: вѣдь не говоря ужъ о насъ — и общемировой культурный уровень въ послѣдніе десятилѣтія понизился.

* * *

Я всетаки думаю, что дѣло зарубежной литературы сегодняшнимъ днемъ не кончится. Трудны житейскія условія; жалки отдѣльные попытки разбить традиціи, создать что-то вроде школы свободы; но въ концѣ концовъ, такой а-традиціонный журналъ — будетъ. Я хорошо знаю эту средне-молодую литературную среду и знаю, что почти у каждого уже и сейчасъ «есть что сказать». Если сразу не всѣмъ это удастся, вспомнимъ опять: какъ вещи «слеживаются» въ запертомъ сундукѣ такъ и мысли-чувства, невысказанныя, въ душѣ. Сразу ихъ въ порядокъ не приведешь.

Возможно, что иной уже свыкъ съ молчаніемъ, со своимъ положеніемъ «отверженнаго», и погрузился

дой: «вѣдь мы ничего по настоящему *не знаемъ*; мы никакаго систематическаго образованія не получили, не успѣли до катастрофы; мы не должны примиряться съ ненормальной нашей биографіей, намъ нужно догнать самихъ себя...»

Это отчасти вѣрно; и если сравнивать зарубежную молодую интеллигенцію не съ совѣтской (передъ которой первая — изысканное собраніе культурнѣйшихъ людей), а съ довоенной, (особенно литературной) и даже очень зеленой, студенческой — разница несомнѣнна.

Я это знаю, — мнѣ много приходилось сталкиваться съ начинающими писателями, часто будущими знаменитостями. Да, многимъ изъ здѣшнихъ слѣдовало бы общія свои знанія пополнить; и это, при желаніи было бы нетрудно, если бы... если бы опять не проклятый «жиръ для свиней», не вѣчная забота о кускѣ хлѣба. Когда тутъ о чемъ думать, что, когда, читать?

въ «оцѣпенѣніе», — о которомъ такъ вѣрно говорится въ одной современной книгѣ. Но человѣкъ съ настоящей природой писателя, — художника, политика, философа, — никогда со своей «отверженностью» не примирится, и погибельное оцѣпенѣніе ему не грозитъ.

Кстати: данный сборникъ, «опытъ свободы», есть, въ нѣкоторомъ родѣ, и «салонъ отверженныхъ». Этимъ объясняется участіе въ немъ двухъ писателей «старшаго» поколѣнія: одинъ, несмотря на то, что книги его переводятся на почти всѣ существующіе языки, вплоть до японскаго, и даже эсперанто, такой же «отверженный» для русской эмигрантской печати, какъ и молодые его сосѣди по книгѣ; такъ же, какъ они, онъ не имѣетъ возможности печататься ни въ одномъ парижскомъ журналѣ, ни газетѣ.

Что касается другого «старшаго» участника, — онъ, хотя и работаетъ у себя, по своей специальности, терпитъ ту же неудачу при попыткѣ проникнуть въ общую прессу съ какимъ нибудь скромнымъ, но живымъ фельетономъ, съ чѣмъ нибудь, что пишетъ *для себя*.

* * *

Вотъ, приблизительно, все, что надо знать читателю прежде, чѣмъ онъ раскроетъ книгу.

Сказанное выше и, между прочимъ, указаніе на возможную неудачу перваго опыта, отнюдь не есть «просьба о снисхожденіи»: участники опыта въ снисхожденіи не заинтересованы. Читатели, — публика, — вольны критиковать книгу, какъ имъ будетъ угодно. Въ томъ, какъ отнесется къ ней публика, для насъ будетъ извѣстный «смотръ» и ей самой. Важно, вѣдь, знать, что она думаетъ о литературѣ, о свободѣ, о свободныхъ начинаніяхъ, — главное, о свободѣ, — и что она въ ней понимаетъ. Важно знать также, интересуется ли она тѣмъ, что интересно молодымъ писателямъ; сумѣетъ ли она хоть какъ-нибудь разсмотрѣть ихъ «лица», своеобразіе каждаго, непохожесть другъ на друга?

Конечно, «смотръ» публики, какъ нашъ, писательскій, — оба будутъ весьма несовершенны. Оба, вѣдь, сегодня — первые.

Завтра, если для писателей свобода сдѣлается привычнѣе, — можетъ быть станетъ она ближе, понятнѣе, и для читателей.

З. Н. ГИППІУСЪ

О «САМОМЪ ВАЖНОМЪ»

— Напишите статью, «взглядъ и нѣчто», разскажь... что хотите!

— О чемъ?

— О чемъ хотите, о томъ, что васъ интересуетъ.

— А если меня ничего не интересуетъ?

— Если бы это было такъ, я не просила бы васъ писать.

— Все таки, о чемъ?

— Ну, какъ это вы не понимаете! О томъ, что для васъ самое важное!

Не могу начать съ чего либо иного, чѣмъ этотъ діалогъ. Воспроизвожу его, кажется, дословно. Съ тѣхъ поръ прошло пять или шесть мѣсяцевъ — а я все думаю: что для меня самое важное? «Средь лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ и всякой пошлости и прозы» нѣтъ - нѣтъ да и мелькнётъ все тотъ же вопросъ: что самое важное — и такое ли оно у меня, это самое важное, что я могу открыто о немъ говорить, не только безъ урона для себя, но даже съ выгодой? (т. е. — «вотъ прочтите, посмотрите, какой я умный, хорошій, возвышенно-взволнованный, какъ мнѣ дороги судьбы человѣчества и какъ я тонко въ нихъ разбираюсь!»). У Алданова есть гдѣ то старый писатель, французъ, очень умный и душевно-честный человѣкъ: онъ въ минуту откровенности, наединѣ съ собой, сознается, что для него самое важное — очень молоденькія дѣвочки. Боже, Боже! если бы всѣ мы были такъ правдивы, какъ этотъ человѣкъ, что у насъ получился бы за альманахъ и что осталось бы отъ старательно выбранныхъ, конкетливо-прекрасныхъ словъ!

Не знаю какія статьи будутъ помѣщены въ этой книгѣ. Былъ бы радъ ошибиться, но боюсь, что въ немъ окажется мало правды: не въ смыслѣ откровенности, которая никому не нужна, а въ смыслѣ ответственности за слова и искренности, которая обязательна. Планъ З. Н. Гиппіусъ очень заманчивъ, но онъ изъ области того, «чего нѣтъ на свѣтѣ». Отъ довѣрія къ людямъ до пренебреженія къ нимъ ближе, чѣмъ отъ великаго до смѣшнаго.

Какъ пишется статья, какъ сочиняется докладъ или «берется слово» въ преніяхъ? Къ сожалѣнію это почти всегда театръ, — и оттого настаетъ время, когда это перестаетъ интересовать (Имѣю въ виду, конечно, писанія и споры на отвлеченную тему, съ уклономъ къ

морализированію и съ обзорѣніемъ всемірной исторіи съ птичьяго полета, а вовсе не бесѣды дѣловыя и точныя). Намъ, можетъ быть, не совсѣмъ безразлично то, что мы публично отстаиваемъ, намъ не совсѣмъ «все равно», — но скорѣй мы согласились бы поступиться подлинными своими настроеніями, чѣмъ предстать въ роли, которая не представляется намъ максимально-привлекательной. Каждый на эстрадѣ или въ печати безотчетно ищетъ не только торжества своимъ идеямъ, но и успѣха лично себѣ, — и чѣмъ ораторъ или писатель болѣе «блестящъ», тѣмъ это нестерпимѣе. Можно быть глупо-блестящимъ, съ парадоксами, адвокатски-за-кругленными періодами, метафорами и неожиданно-вставленными въ патетическую рѣчь анекдотами. Можно быть блестящимъ иначе, на утонченно-эмигрантскій ладъ: съ померкшимъ взоромъ, паузами, будто отъ избытка думъ, и безпомощными руками, будто отъ безсилья жестовъ... О, право, цѣна одному и другому — одинакова, разница только во вкусѣ и модѣ! Въ основѣ, все — театръ, представленіе, фокусничество, и самое лучшее было бы во всеуслышаніе объ этомъ объявить: давайте, господа, дадимъ сегодня спектакль на тему о свободѣ личности или о смыслѣ зла въ мірѣ! Тогда по крайней мѣрѣ никому не было бы неловко — отчего въ самомъ дѣлѣ не развлечься часъ или два «à sa façon», какъ поется во французской военной пѣсенкѣ?

Сборникъ о самомъ важномъ! Самое важное въ недоумѣніи — есть ли у насъ «важное», и что это такое. Алдановскія «дѣвочки» въ разныхъ вариантахъ; — или нѣчто не только avouable, но и достойное. Плохо то, что въ сущности каждый изъ насъ — литераторовъ можетъ съ приблизительнымъ сходствомъ написать вмѣсто любого другого статью о «важнѣйшемъ», безъ малѣйшей увѣренности, однако, что за всѣмъ этимъ не копошатся гдѣ-то дѣвочки. (Вспоминаю записи дневника Блока, незадолго до смерти: «Все еще будетъ хорошо. Россія будетъ счастлива...»)

... Если это сказано чистосердечно, въ чемъ почти невозможно сомнѣваться, за это одно должно бы отпущаться человѣку всѣ грѣхи его! Патріотизмъ можетъ быть «только этапъ», по Ибсену, — по этапу доказываешь, что есть движеніе и путь). Была бы охота, можно было бы единолично составить и цѣлый сборникъ, даже съ видимостью дебатовъ. О чемъ была бы рѣчь?

О Гитлерѣ само собой разумѣется, — какъ же сейчасъ безъ Гитлера! О большевизмѣ; но о большевизмѣ

меньше — большевизмъ выдохся. О священныхъ правахъ индивидуума, о поэзии, какъ тихомъ убѣжищѣ или боевомъ фронтѣ, въ зависимости отъ темперамента. О смерти, которая всему придаетъ изящный, меланхолическій, дымно-голубовато-серебристый, пуссеновскій отблескъ. О метафизическомъ значеніи любви и дружбы, о приближеніи тьмы, о томъ, что мы бросаемъ бутылку въ море, и когда нибудь, черезъ тысячи лѣтъ, кто нибудь ощутитъ, какіе мы были замѣчательные и несчастные люди. (Образецъ заключенія статьи, внезапно мелькнувшій въ воображеніи:

«Несчастные? Нѣтъ, счастливые!»

Подъ занавѣсъ всегда хорошо перейти на мажоръ, въ особенности, когда финальная точка избавляетъ отъ дальнѣйшихъ размышленій и разъясненій). О культурѣ, которая есть именно то, что въ насъ воплощено. О «дѣтяхъ страшныхъ лѣтъ Россіи», конечно, — безъ этихъ «дѣтей» обойтись совершенно невозможно. О томъ, что можетъ быть именно въ этомъ альманахѣ, на который не обратить вниманія пошлость, правящая міромъ, найдены и сказаны слова, которыя міръ могли бы спасти.

Не надъ чѣмъ тутъ смѣяться. Если бы мы не были «къ добру и злу постыдно равнодушны», эта книга была бы великимъ дѣломъ. Времена наши въ самомъ дѣлѣ такія, что умѣстно вспомнить о катакомбахъ, — и пора бы папѣ исполнить пророчество или совѣтъ Достоевскаго, и выйти босымъ и нищимъ изъ своего дворца, пока не поздно (Онъ можетъ быть медлить оттого, что знаетъ, что поздно. Нельзя въ такой игрѣ рисковать).

Но потому намъ и остается только бросать въ океанъ бутылки и отдѣлываться вздохами, что наше «самое важное» — лишь призрачно, обманчиво наше. Для публичныхъ парадированій мы беремъ его на-прокатъ, а дома сбрасываемъ маскарадный костюмъ и облачаемся въ халатъ. Въ лучшемъ случаѣ: это наши *мысли*, но это не наши *мысли* — *чувства*, — разница «дьявольская», дѣлающая изъ человѣка тряпку и вносящая неустраняемую, тончайшую ложь въ творчество, едва только оно выходитъ за предѣлы созерцанія. Гитлеръ въ самомъ дѣлѣ исчадіе ада, но торжествуетъ онъ оттого, что ему ничего не противостоятъ, — и пока это остается такъ, нарицательные Гитлеры съ ихъ элементарными, но пѣльными, слитыми воедино головами и сердцами, побѣждать будутъ. Изъ нашихъ альманаховъ «о самомъ

важномъ» они даже не сложать костровъ, а просто пожмутъ плечами — и будутъ по своему правы.

Самое важное, — чтобъ мнѣ не было все равно (или точнѣе: чтобъ мнѣ не было безразлично, что мнѣ все равно) — Гитлеръ, поэзія, «страшные дѣти Россіи», паца, культура:

Только бы льнули дѣвчонки,
Къ чорту пославшія стыдъ,
Только бъ водились деньжонки,
Да не слабѣлъ аппетитъ!

какъ писалъ съ вызовомъ всей благородствующей и равнодушной фальши пронизательный человекъ Ал. Тиняковъ. Но объ этомъ я не могу дать статью въ альманахъ. Если во мнѣ — въ любомъ изъ насъ — что то еще теплится, я безотчетно задуваю огонекъ, едва беру перо въ руки. Самое важное, что я не знаю, какъ соединить одно съ другимъ — и пишу сейчасъ эти строки, зная, что я этого не знаю.

Надѣюсь когда нибудь узнать.

Георгій АДАМОВИЧЪ

ДВИЖЕНИЕ ЛЮБВИ.

В. МАМЧЕНКО

Когда дѣвочка Жанна д'Аркъ слушала повѣствованіе о Гесфиманскомъ плѣненіи Христа, она съ возмущеніемъ и ужасомъ повторяла: а если бы отецъ мой былъ тамъ — *этого* не было бы... если бы мой братъ былъ тамъ... мой дидя... они не позволили бы, они не позволили бы...

Эти слова взволнованно вспомнилъ поэтъ К. на одномъ, бывшемъ въ Парижѣ, философско-литературномъ собраніи, гдѣ не въ первый ужъ разъ говорилось объ антихристіанскомъ движеніи среди современныхъ намъ людей.

К. подтверждалъ слова дѣвочки Жанны въ такой степени, что если бы онъ самъ чудесно былъ со Христомъ, когда слуга первосвященника, Малхъ, наложилъ на Исуса руку — онъ повторилъ бы ударъ мечомъ, наперекоръ повелѣвающимъ убійденіямъ Учителя, наперекоръ всему и всѣмъ. Онъ отскѣкъ бы вновь уху Малху, даже тогда, когда оно только что было исцѣлено. Все равно — онъ отскѣкъ бы это ухо, несмотря ни

на что; отсѣкъ бы и голову; порубилъ бы еще многихъ и многихъ, только бы защитить Единственнаго Учителя.

Такъ понялъ я поэта К.; что онъ былъ искрененъ — я не сомнѣвался.

Въ дѣтствѣ, помню, я слышалъ такія слова отъ дѣтей. Дѣти ровно ничего не знали ни о Жаннѣ, ни о словахъ ея о «слабости» тѣхъ, кто окружалъ тогда Учителя въ Гефсиманскомъ Саду. Я помню дѣтскую изступленность жертвенности ради Христа: ради Него — пусть вѣчный адъ, погибель за ослушаніе (вложи мечъ свой); ради Единственнаго — на муки, на вѣчное исчезновеніе, не все ли равно? Развѣ можно жить еще, если Его не будетъ...

Но теперь, вотъ сейчасъ, какъ быть намъ, взрослымъ? И я, почувствовавшій въ волненіи К. свое волненіе, въ горѣ дѣвочки Жанны — свое горе, я, въ жгучемъ клубкѣ разнородныхъ чувствъ, уже нахожу теперь какіе-то доводы, какое-то оправданіе своему «умному непротивленію» — такому мертвому, горькому, постыдному. Объясняю себѣ оправданіе, думаю, что въ въ томъ чувствѣ Жанниномъ я былъ незаконно. Теперь, уклоняясь отъ горечи, подлинной дѣтской горечи Жанны, я уже вспоминаю и слова Учителя, сказанныя тамъ, въ ту предутреннюю ночь плѣненія, о которыхъ, будучи съ горемъ Жанны, какъ то позабылъ.

Но отчего теперь, читая или слушая въ обыкновенной церкви вѣчно необыкновенный и вѣчно новый, мучительный для совѣсти, рассказъ о мукахъ Учителя, наперекоръ «умному» понятію незаконности кажется мнѣ, что такого ужаса не могло, не должно было быть? Лучшаго изъ людей убили, распяли Единороднаго; «допустили»...

О, и не только тѣ, что стояли *тогда* подлѣ Него! Нѣтъ, что-то не такъ. Въ самооправданіи нѣтъ успокоенія.

Можетъ быть, тѣ слова Учителя были сказаны именно не намъ, не для насъ такихъ, самооправдывающихся, а тѣмъ дѣтямъ, мальчикамъ, Жаннѣ? Можетъ быть — знать тѣ слова, помнить о нихъ, помогаетъ намъ нашъ *природный* грѣхъ — страхъ? Вѣдь не для нерѣшающихся, не для боязливыхъ запреты къ дѣйствию. Развѣ для того, чтобъ защитить Его, теперь, мы хватаемся за мечи? Если нѣтъ льда или пламени отчаянія — что такъ однородны въ движеніи Любви, — зачѣмъ и убѣждать такого: вложи мечъ свой?

Развѣ не достаточно теплому мѣщанину духа своего собственнаго разумѣнія о дѣлахъ «не отъ міра сего», разумѣнія, которое не кажется ему ни кощунствомъ, ни предательствомъ?

Если такъ, то убѣжденія Учителя обращены только къ выхватывающему мечъ, чтобы защитить Единороднаго, чтобы ужасное «не допустить»....

И еще, изъ того-же жгучаго клубка: надо было бы итти къ первосвященнику — ему, мнѣ, имъ, всѣмъ; распяться, или — какъ теперь — быть разстрѣляннымъ съ Нимъ... Но, тогда — что-же мы медлимъ? Тотъ, убоявшійся окрика «міра сего», все же преодолѣлъ страхъ; долго преодолевалъ, но гдѣ то въ концѣ увидѣлъ, что иного пути, кромѣ пути Сына Божьего, въ жизни живой — нѣтъ.

Что-же медлимъ мы — не тѣ, кто такъ хорошо знаютъ, что спасеніе людямъ уготовано въ чемъ угодно, только не въ Сынѣ Божьемъ, не въ Богочеловѣкѣ, — но мы, пусть хоть на мгновеніе почувствовавшие полноту Любви, — чего ради мы медлимъ? Развѣ только отъ Паскаля мы знаемъ (не въ любознательности тутъ дѣло), что среди насъ ежеминутно распинается Сынъ Божій? Гдѣ мечи наши? Не количественное-ли превосходство Малховъ насъ страшитъ, и потому такъ малодушно мы помнимъ не къ намъ обращенныя слова — о погибели отъ меча, обнажающихъ мечъ свой. И для такой-ли притупленной совѣсти тѣ Его, въ огромной жалости къ людямъ, слова о «легіонахъ ангеловъ»? Намъ ли сказаны были они?

Филонъ Александрійскій, подъ стать медорѣчивымъ грекамъ, хотѣлъ сдѣлать Священное Писаніе «умнымъ» (будто чудо станетъ дѣйствительнѣе, сдѣлавшись умнымъ).

Крестоносцы хотѣли быть вѣрными *гробу* Господню, какъ если бы онъ имъ былъ дороже самого Господа.

Инквизиція, не только та — ради пустого кошелька Филиппа II-го, но и та, что горѣла будто пламенемъ вѣры бл. Августина, — отъ Торквемады до «коллективной собственности» нашихъ дней — все кажется соблазномъ ложнаго дѣла, кощунствомъ въ Духѣ, бѣснованіемъ; но вотъ мнѣніе мрачнаго чудовища, издревле доползшаго въ наши дни: «Онъ ничего поваго не сказать»... «Онъ незаконнорожденный сынъ Маріи, пас-тушки козъ»... И дѣти, и дѣтское, кричатъ: чудовище, за что тогда ты Его распяло, убило? Или развѣ меньше пронзительной глубины было бы для меня, если бы Онъ

дѣйствительно зачать былъ пастушкой Маріей отъ разбойника, бѣглаго римскаго легіонера, Пантеры? Нѣтъ, радость не уменьшилась бы, больше — она вскрылилась бы: значить, для Бога все возможно: Онъ изъ праха, пастушки, еврейской дѣвушки, соблазненной разбойникомъ и отверженной людьми — можетъ сотворить Сына. Значить — тамъ, гдѣ человѣкъ видитъ тупикъ, гибель, тьму — нѣтъ окончательной тьмы и гибели. Если для Бога все возможно, то спасеніе возможно въ Богѣ и мнѣ, намъ, всѣмъ. Сказать могутъ, какъ много разъ говорили, что все это «не отъ міра сего». Тогда не покойнѣе ли человѣку знать, что Сыновство Божье его не касается, если даже когда либо и было? Было разъ и довольно; важнѣе быть германцемъ или пролетаріемъ, или еще кѣмъ... Но а вѣрующимъ кажутся крестныя муки Сына страшнѣе смерти, а какъ не знать, что и теперь Онъ въ крестныхъ мукахъ среди насъ, пока... Гдѣ движеніе любви заступниковъ Его? Почему они не рубятъ всѣмъ этимъ Малхамъ уши, головы?

Или сонъ сильнѣе воплей? Спать, спать и задыхаться сонно, бормотать какіе-то слова о добродѣтели, о ближнихъ, объ истинѣ... Вѣдь уснули же и тогда, тамъ, до прихода того самого Малха: *допустили*... Легче отмахнуться отъ Сыновства, сказавъ, что оно сверхчеловѣческое, или иллюзія, или мифъ, «не отъ міра сего», тогда можно, говорить «опытъ», отрицать и связующую нить съ Богомъ, послѣднюю нить Духа-Совѣсти: «отступись отъ меня, что Тебѣ во мнѣ, Господи!»...

Передъ совѣстью достовѣриѣ кажется глубина дѣтскости. Но если и смотрѣть во всю ширь взрослыхъ глазъ, видно, намъ особенно, что нѣтъ иныхъ путей, нѣтъ иныхъ истинъ спасенія для человѣка, какъ въ Сынѣ Человѣческомъ — Сынѣ Божьемъ.

Тысячи лѣтъ до Него, тысячи послѣ, люди только и дѣлали, и дѣлаютъ, что страшной цѣной, огромными усиліями ищутъ выхода изъ скользкаго тупика; но не того выхода, которымъ прошелъ Іисусъ изъ Назарета. Устройство земли, благо живущихъ, — каждое вновь рождающееся поколѣніе видитъ по своему, чтобы по своему скользнуть въ тотъ же проклятый тупикъ: «что Тебѣ до насъ, Сынъ Божій»... Все, что угодно, какъ, все равно, лишь бы не такъ, какъ Онъ. Страшенъ, страшнѣе смерти и ада, путь истины.

Человѣкъ уклоняется отъ встрѣчи со своей совѣстью; для этого онъ придумалъ достаточно разныхъ

иллюзий, которыя почитаетъ за единственную и вѣчную реальность, и гдѣ нѣтъ ничего отъ «неочевидностей» Богочеловѣка. Такимъ людямъ легче принять смерть, чѣмъ пробужденіе отъ своихъ «реальностей». Такіе люди не хотятъ видѣть, что зло существовало и все равно будетъ существовать, если они не перестанутъ питать его своею жизнью. Это дѣло опыта каждаго изъ насъ.

Зло не теряетъ своей остроты отъ того, что признается фактъ его существованія; наоборотъ — этимъ какъ бы утверждается неизмѣнность его реальности; и только вѣруя въ единственную реальность — добро, — зло станетъ, какъ оно и есть — беззаконностью, проваломъ, а не реальнымъ явленіемъ. Вѣдь и камни въ пустынь, если безъ любви обратитъ ихъ въ хлѣбъ, все равно станутъ во чревѣ опять камнями; наоборотъ, одинъ хлѣбецъ, любовно раздѣленный среди многихъ ядушихъ — насытитъ. Знаютъ объ этомъ многіе, но — все равно какимъ путемъ, только бы не путемъ Богочеловѣка. Знаютъ многіе и о другомъ: «Гребъ предамъ я города и царства міра, если поклонюсь мнѣ»... Эти многіе, жаждущіе городовъ и царствъ, «догадливые челоуѣколюбцы», ползающіе во прахѣ и крови передъ тѣмъ, кто самъ ползалъ передъ Богочеловѣкомъ, даже удивляются, вѣроятнo, своей догаливости и легкой удачѣ, которую дастъ ненависть. А мы — съ ними; надо имѣть мужество сознаться, что мы съ ними, что мы не противъ тѣхъ, кто выпросилъ въ проклятіяхъ и крови царства и города. Мы, живущіе въ тѣхъ царствахъ и городахъ, молчимъ, такъ какъ намъ очень страшно. И смерть намъ менѣе страшна, чѣмъ сказать: да, я съ Нимъ и пойду за Нимъ: куда Онъ, туда и я, — безъ Него нѣтъ жизни живой ни на землѣ, ни на небѣ.

Иисусу грозили проклятьемъ цѣлаго народа, смертью, если Онъ не перестанетъ быть собою; Его провоцировали (проклятый смыслъ проклятаго слова!) зломъ ко злomu; въ Синедрионѣ послѣдній разъ Его просили лучшіе изъ народа — отречься отъ Себя; и пилатово судилище, гдѣ достаточно было одного «обыкновеннаго» слова или жеста (хотя бы на улыбку Пилата — отвѣтитъ такой же улыбкой: «что есть истина»...), чтобы не умереть крестной мукой, чтобы только жить, какъ нибудь — жить, но уже не Христомъ, не Единороднымъ, а *какъ всѣ*. (Какое жуткое клеймо на челоуѣкѣ: какъ всѣ!..).

Если бы мы были съ Нимъ все время теперь, какъ

бываемъ иногда на мгновеніе — осіянно и безудержно, — конечно, мы «не допустили бы»... Но мы не всегда съ Нимъ; мы, когда и не противъ Него, то о Немъ молчимъ. Страшно. Узелъ все туже, все туже стягивается; ненавистники силой заставляютъ любить себя; разстрѣлами, плахой спасаютъ человѣка отъ «дуриного» въ немъ; но во имя чего, кого? Чѣмъ лучше еще живущій — уже казненнаго? Въ этомъ ли спасеніе отъ пожирающаго насъ чудовища?

Стихійныя бѣдствія, эпидеміи, войны, «естественная», какъ говорится, смерть, приняты человѣчествомъ, «всѣмствомъ» покорно, почти безропотно; и въ культуру нашу входитъ теперь, какъ случайно раньше обойденная «естественность» — ненависть.

Всякій вѣрующій знаетъ, что зло само по себѣ не существуетъ; сами плодимъ мы его, надѣляемъ дурной силою и страшимся его, допускаемъ его существованіе.

Официальная исторія человѣчества насъ не утѣшаетъ; исторія не избавляетъ отъ ужаса жизни; это не исторія души человѣка, разъ говоритъ она, что всегда было, есть и будетъ: обиды, злоба, кровь. Развѣ можно этой исторіей спасти человѣка, ведомаго такъ или иначе на убіеніе, а убійство оправдать... знаніемъ исторіи, знаніемъ, что такъ было, есть и будетъ?

Чего стоитъ исторія, общество, знаніе и такъ называемая государственная культура, если ни одного живого вздоха не прибавляютъ они человѣку, задыхающемуся въ судорогахъ гибели? Если бы они были истинными — въ нихъ явлено было бы движеніе Любви; но движеніе это приходится искать далеко, въ иныхъ мѣстахъ, въ мѣстахъ прямо противоположныхъ тѣмъ, какими гордится нынѣшній человѣкъ — устроитель нынѣшней жизни. И чѣмъ гордиться ему, если онъ въ дѣйствіяхъ своихъ, ко злему, не уступаетъ стихіи?

«Природа мерещится при взглядѣ на эту картину («Снятіе со креста» — Гольбейна) въ видѣ какого-то огромнаго, зѣвря, или вѣрнѣе, гораздо вѣрнѣе сказать, хотя и странно, — въ видѣ какой нибудь громадной машины новѣйшаго устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила въ себя глухо и безчувственно великое и безцѣнное Существо — такое Существо, которое одно стоило всей природы и всѣхъ законовъ ея, всей земли, которая и создавалась-то, можетъ быть, единственно для одного только появленія этого Существа»... (Достоевскій).

Но виновать ли «частный» человекъ въ ужасахъ жизни, разъ онъ самъ гибнетъ подъ этимъ чудовищемъ? Да, виновать — поскольку подчиняется власти чудовища, поскольку слѣдуетъ его методами, законамъ — въ страхъ и покорности. Зло за зло: зло плюсь зло, — зло? Но какъ убѣдительно внушаетъ чудовище, что будетъ добро! — Гдѣ оно, добро? Когда? Завтра? Но вѣдь уже тысячелѣтія длится такое «завтра», объ этомъ *сама исторія* говоритъ, тошко анализируютъ всѣ «умныя знанія»; но въ людяхъ — все тотъ же ужасъ губительнаго тупика. Лишь въ движеніи Любви не такъ: тамъ нѣтъ чудовища и страха: исторія Сына Божьяго — Сына Человѣческаго — тому порукой.

Викторъ МАМЧЕНКО

ПЕРЕМѢНЫ.

Ю. ФЕЛЬЗЕН

Я уже недѣлю нахожусь въ русской клиникѣ, недавно открывшейся, пока еще свѣтлой и чистой, гдѣ перенесъ нелегкую операцію (запущенный гнойный аппендицитъ) и гдѣ начинаю медленно поправляться. Къ постели привинченъ маленькій шюптръ, съ почти отвѣсною спинкой (что удобно также и для чтенія — при моей теперешней слабости дѣйствительно «валятся книги изъ рукъ»), и я, кое-какъ приспособившись, неуклюже пишу карандашемъ. Это было возможно и раньше (у меня все та же потребность писать), но только сегодня увезли моего единственнаго сожителя по комнатѣ, а мнѣ безпрерывно мѣшало его присутствіе, хотя бы молчаливое. Я весь погруженъ въ больницу обстановку, не безъ труда и не сразу освоился (зато надежно и прочно — какъ со всякимъ устоявшимся бытомъ) съ навязанными извигъ собесѣдниками — докторами, сидѣлками, сестрами — и міръ свободныхъ передвиженій, произвольнаго выбора мѣстъ, очередныхъ занятій и друзей, міръ улицъ, кафѣ, ресторановъ, прогулокъ, неба и погоды отодвинулся куда-то далеко. Мнѣ иногда освѣжительно-пріятно, что нѣтъ постоянной обязанности изворачиваться, о чемъ-то заботиться, что поневолѣ на время отложены огрубляющія дѣловыя усилія, мнѣ здѣсь, какъ и повсюду, нескучно: неизмѣнная сладкая внутренняя дрожь — то непосредственно, то смутно-отраженно — заполняетъ и эти часы, несмотря на ихъ видимое однообразіе, чудесно меня избавляя

отъ апатическаго ко всему равнодушія или отъ приступовъ глухого нетерпѣнія. Вспоминаю, какъ я сюда попалъ, какъ подчинился здѣшнимъ порядкамъ, внезапно ставшимъ властной реальностью, какъ незамѣтно вытѣснялась предыдущая, воспоминаю мучительные дни на свободѣ и удивляюсь нашей воспріимчивости, тому, что рано или поздно мы привыкаемъ къ любымъ жизненнымъ условіямъ и порой еще умудряемся свое, основное, въ нихъ сохранить.

Передъ моей операціей и болѣзnią Леля уѣхала съ Павликомъ на югъ, и сперва я свое нездоровье объяснялъ чрезмѣрнымъ, понятнымъ огорченіемъ изъ-за ея скоропалительно рѣшенной и нескрываемо радостной поѣздки. Теперь я честно сознаю, что себя наполовину обманывалъ и самъ непремѣнно хотѣлъ насильственно съ Лелей разстаться, избавиться отъ длительной ревности, отъ ежедневныхъ мелкихъ уколовъ, которые у меня появлялись непрестанно, изъ-за тысячи поводовъ, какъ я безропотно и твердо ни мирился съ окончательнымъ Лелинымъ уходомъ.

Еще при ней меня поразило неожиданное отвращеніе къ їдѣ: каждый проглоченный мною кусокъ, полъ-стакана воды или вина вызывали неудержимую тошноту, припадки рвотнаго, желчнаго кашля, съ отдачей въ натянутыхъ стѣнкахъ живота. Какъ ни странно, боль ощущалась не тамъ, гдѣ надо — въ правомъ боку — а почти посерединѣ и ниже. Именно это и ввело въ заблужденіе милѣйшаго молодого врача, къ которому я тогда обратился послѣ вынужденной пятидневной голодовки — онъ дважды прописалъ мнѣ слабительное, что оказалось убійственно-вреднымъ, однако ничуть не уменьшило моего обычнаго къ медицинѣ довѣрія: какъ и всякая наука о людяхъ, она лишь приблизительно точна, и я, ставъ «жертвой ошибки», однимъ изъ неизбѣжныхъ исключеній, пытался въ себѣ подавить эгоистически-несправедливую досаду. Я и самъ наивно поставилъ нелѣпый діагнозъ — язва желудка (въ которомъ была какая-то тяжесть, словно присутствовало что-то постороннее) — но меня и это не пугало; я покорился усталому, слѣпому равнодушію, считая (безъ малѣйшей рисовки), будто незначѣмъ жить и не стоитъ бороться, и проще, положившись на судьбу, не загадывать, не думать о послѣдствіяхъ. Мнѣ даже боль представлялась выносимой (и только надоедливо-противной), хотя моя сосѣдка по отелю — сочувствуя — жаловалась прислугѣ, что я цѣлыми ночами стоналъ (безсознательно — должно быть во снѣ). Леля говорила

«о нервахъ» и сомнительно меня утѣшала: «вотъ увидите, мы съ Павликомъ уѣдемъ, все забудется, и сразу вы окрѣпнете». На вокзалѣ я старался не упасть, облокотившись о столбъ и гримасничая, и Рита повела меня къ себѣ въ ресторанъ, чтобы не оставить одного безъ присмотра (кромѣ насъ никто не провожалъ — Шура не могъ отлучиться и «бросить дѣло къ чертямъ»), а Петрикъ давно уже гоститъ у Лондонскаго своего мецената). Въ ресторанѣ я сидѣлъ, обезсиленный, боясь, что любое движеніе мгновенно меня приведетъ къ неминуемо позорной развязкѣ и все же сознавая необходимость поскорѣе отправиться домой. Наконецъ рѣшивъ, что мнѣ легче и надо этимъ воспользоваться, я — вопреки совѣтамъ хозяевъ и собственному трезвому благоразумію — поспѣшно вышелъ на улицу, гдѣ сейчасъ же мнѣ прервала дыханіе неумолимо-рѣзкая струя сырого, колючаго вѣтра — была худосочная Парижская зима. Я стремительно кинулся обратно и легъ на диванъ у стѣны, попрежнему боясь шевельнуться, изнемогая отъ головокруженія и тошноты, и отъ боли, ихъ вызывавшей, теперь невыносимо-жестокой. И эти, и другія опущенія — предвидѣнье близкаго удушья, страхъ того, какъ будетъ передъ всѣми и что именно случится со мной, отвратительная предобморочная тоска — нарастая, смѣшивались въ одно. Не помню яркаго, путанно-долгаго, затѣйливо-пестраго сна (какъ выяснилось позже, по рассказамъ, продолжавшагося не болѣе минуты). — изъ мелькающей этой пестроты навязчиво стала выдѣляться смутно-знакомая женская фигура, волшебнo превратившаяся въ Риту (но съуженно-призрачную, будто въ проэкціи), а рядомъ съ ней (и почему-то вдаль) успокоительно улыбался мнѣ Шура. Поймавъ мой пристальный взглядъ, Рита умышленно-громко сказала — «слава Богу, все хорошо» — однако я въ ея словахъ уловилъ оттѣнокъ тревожной неувѣренности и тогда лишь началъ соображать, что былъ обморокъ, похожій на сонъ, что пожалуй такъ и умирають, что не проснуться до ужаса легко. Но мнѣ вернулись боль и тошнота и прежнее опасеніе удушья, и казалось, отъ жеста, отъ фразы, отъ незначительнаго поворота головы, оттого; что на секунду нарушится физическое или душевное равновѣсіе, я опять «туда» проваляюсь, и у меня инстинктивно возобновилась упорная съ этимъ борьба. Не надѣясь на помощь извнѣ и странно полагаясь на себя, я съ вялымъ любопытствомъ смотрѣлъ, какъ усердно, склонившись надо мной, Рита мягко растирала мнѣ пальцы — бумажнаго

цвѣта и ломкости, по тогдашнимъ моимъ впечатлѣніямъ — и насмѣшливо, лѣниво отмѣчалъ я и Шурины повторные вопросы («признайтесь, вамъ все таки лучше»); своимъ благопріятнымъ отвѣтомъ я ихъ избавилъ бы отъ скучной обязанности, чего имъ обоимъ явно хотѣлось. Публика въ залѣ, театрально взбудораженная, столпилась около насъ, и я тихонько Шуру попросилъ меня увести, черезъ кухню, въ прохладный темный погребокъ, гдѣ послѣ рвоты, возникшей отъ ходьбы и облегчающе-длительно-сладостной, я и на самомъ дѣлѣ вдругъ ожилъ, съ особой эпикурейской остротой вспоминая недавнее свое состояніе (какъ явно напоминають избѣгнутую опасность), удобно сидя на твердомъ табуретѣ и опираясь о влажную стѣну. Даже чувство брезгливости прошло отъ горячей воды и одеколона, и я, продолжая блаженствовать, неискренно заговорилъ «о стыдѣ, о напрасно причиненномъ безпокойствѣ», но Шура, съ обычнымъ у него повышеннымъ сознаниемъ долга, побѣдивъ естественную досаду и не слушая моихъ объясненій, поднялся наверхъ за врачомъ: какъ бываетъ въ газетныхъ происшествіяхъ, среди ресторанныхъ посѣтителей оказался извѣстный хирургъ — онъ немедленно спустится ко мнѣ и, пощупавъ мой вздувшійся, каменный животъ, сейчасъ же распорядился по телефону, чтобы въ клиникѣ (въ которой я сегодня лежу) приготовили все необходимое для срочной и сложной операціи.

Этотъ хирургъ, высокій, худой, московская бывшая знаменитость изъ нѣмецкой не обрусѣвшей семьи, голубоглазый, лысый и сутулый, со свисшими «по казачьи» усами, сѣдѣющими и жестко-густыми и съ округленно-пѣвучими фразами, меня какъ бы рѣшилъ завоевать, чередуя свои интонаціи, переходя съ однихъ на другія, съ милыхъ и добрыхъ на властные и рѣзкія, но я нелегко поддаюсь (даже если хочу поддаваться) искусственному шарму и внушенію, тѣмъ болѣе казенно-професіональному, и сперва мнѣ казалось невозможнымъ приспособиться къ чужому человѣку, ему послушно во всемъ помогать, объединяя наши усилія — и волевыя, и мускульно-тѣлесныя — лишь оттого-что онъ докторъ, специалистъ и мой союзникъ въ борьбѣ за здоровье. Конечно у него позади заслуженно-громкая слава, постепенно здѣсь выдыхающаяся, какъ у всѣхъ въ этомъ бѣженскомъ подполнѣ, ему приписываютъ суровое упрямство, безстрашіе, умѣніе рисковать, безъ котораго не бываетъ и выигрыша, онъ можетъ распушенно-трусливыхъ людей подтянуть безыкалостной

насмѣшкой (иногда, по разсѣянности, въ гнѣвѣ, и на родномъ своемъ языкѣ — такъ, перевызывая сломанный палецъ, онъ внушительно кому-то заявилъ: «das ist auch keine Schokolade»), и больныхъ у него подкупастъ неожиданная послѣ упрековъ, горячая и мягкая заботливость, но меня покорило не это, а исцѣляюще-сухое прикосновеніе его не по росту маленькихъ рукъ, бархатно-ласковыхъ, умныхъ и строгихъ. Тогда и мнѣ захотѣлось нецеремѣнно его покорить, и этимъ отчасти объясняется моя неподдѣльная стойкая бодрость, до глупости безпечное любопытство, наивно къ нему обращенное, ему создавшее тотъ нужный «ореолъ», котораго онъ и добивался, отъ котораго зависѣтъ побѣда и значить мое выздоровленіе: вотъ почему я безбоязненно-спокоенъ и лежу, принимая какъ должное, невыносимо-противныя мелкія непріятности, съ однимъ заглушеннымъ желаніемъ, чтобы все поскорѣ пронеслось и чтобы я могъ уже гордиться прошедшимъ. За такое «отсутствіе капризовъ» и будто бы «фѣдкую выдержку» меня преувеличенно хвалятъ, въ особенности нашъ санитаръ, непривѣтливо-мрачный и скупой на похвалы (въ легендарно-далекія «бѣлыя» времена поручикъ, обойденный производствомъ, и съ тѣхъ поръ безнадежный мизантропъ), онъ одобрительно мнѣ улыбается, но эти отзывы, улыбки и усмѣхъ, и все моя убогая выдержка — не достиженіе, не признанъ превосходства, не результатъ усилій и борьбы: я просто знаю, что жалкое пытаніе не избавитъ меня отъ болѣзни и что нельзя излишними хлопотами обременять усталыхъ людей, а главное, могу не волноваться, предвидя благополучный исходъ. Однако чужое одобреніе мнѣ страстно хочется до Лели довести, чтобы она меня хоть «тамъ» оцѣнила, сравнивъ свой блаженный покой съ моею неукошительной смѣлостью и съ тяжестью моихъ «пытаній» — въ этомъ стремленіи какъ то использовать пустыя, несуществующія заслуги вѣроятно сказались и поздняя дѣтскость, и тайная, мнѣ свойственная расчетливость.

Въ ту первую ночь въ операціонной были все, кому быть полагалось, какъ бы маленький медицинскій отрядъ — мой хирургъ, двѣ сестры и санитаръ, и высокая докторша-ассистентка, надменно-красивая и яркая (или такой она мнѣ представилась) — я незамѣтно, ради нея, захотѣлъ себя проявить, выполнилъ съ подчеркнутой готовностью послѣднія, на слѣхъ, распоряженія врачей. Когда налагали эфирную маску, я вызывающе-весело предложилъ оставить мнѣ свободными руки,

объщая «не драться и не скандалить», и свое обещание действительно сдержала. Вначалѣ я немного испугался, рѣшивъ, будто опять задыхаюсь и вотъ-вотъ совсѣмъ задохнусь, но сейчасъ же себя уговорилъ не думать и подчиниться неизбежному, потомъ заколотилось, какъ пьяное, разбухшее гулкое сердце, что-то стучало около глазъ, точно свистѣлъ пролетающій вѣтеръ, голоса становились все глуше, я медленно падалъ въ темную пропасть и — уже неспособный бояться — наконецъ издалека услыхалъ дѣловито-спокойныя слова:

— Кажется, пора приступить.

Въ отвѣтъ изъ той же дали раздался мой собственный голосъ, удивившій меня самого:

— Нѣтъ, пока еще рано...

И братское, нѣжно-снисходительное:

— Слушу, милый, слышу.

Пробужденіе еле запомнилось: въ полутьмѣ торопливые сестры и доктора, мелькающіе, куда-то исчезающіе, тошнотворная слабость и тяжесть, громоздкая, неудобная повязка, раздражающая боль въ животѣ при кашлѣ, при всякомъ движеніи — и ни единой сознательной мысли. Миѣ видимо было нехорошо: операція нѣсколько запоздала, уже начинался перитонитъ, и рану зашили не безъ риска, промывъ желудокъ эфиромъ, съ тѣмъ, чтобы снова, если понадобится, ее надолго открыть и тампонами вытянуть оставшійся гной. Но къ этому прибѣгнуть не пришлось, и моя подозрительная слабость оказалась послѣдствіемъ утомленія, съ каждымъ днемъ я крѣпну, боль уменьшается, и появились крохотныя радости: первая ложка воды, горячій бульонъ, посѣтители — Рита и Шура. Такъ создалось теперешнее состояніе — оторванности отъ прежняго міра и любопытства ко всему окружающему: я вовлекся въ неясный, миѣ чуждый обиходъ и поглощенъ разсказами и сплетнями — о неудачахъ бѣднаго хирурга (ему какъ-то странно «не везетъ», несмотря на одаренность и упорство), о скверныхъ дѣлахъ «нашей клиники», о томъ, что угрюмому санитару измѣняетъ жена съ американцемъ (и это его доконало), что мой сосѣдъ — неисправимый морфинистъ. Онъ по пятнадцать, по двадцать разъ въ сутки — на улицѣ, въ автобусѣ, въ метро — прокалывая костюмъ и бѣлье, себѣ впрыскивалъ очередную дозу морфія, у него отъ грязи возникли парывы, и здѣсь, послѣ того какъ ихъ вскрыли, послѣ всякихъ лѣкарствъ и впушеній, его считали окончательно здоровымъ и наши сестры хвалились

результатами («надо браться за дѣло съ умомъ»), но сегодня когда онъ отсюда уѣхалъ, обнаружился ловкій обманъ: сконфуженная старшая сестра нашла «инструменты» въ постели, между верхнимъ и нижнимъ матрасомъ, чего даже я не замѣтилъ, проведя съ нимъ вмѣстѣ нѣсколько дней. Все это — и клиника, и морфій и сложные чужія отношенія — меня привычно и близко задѣваетъ, и я не вѣрю, что скоро возстановится полузабытая прежняя вольная жизнь, съ ея простыми и страшными случайностями и съ ожиданіемъ вѣчныхъ переменъ.

Она опять безмѣрно отдалилась — у меня воспаленіе въ легкомъ — и новая, здѣшняя реальность все нагляднѣй вытѣсняетъ предыдущую. Но мнѣ вернулось печальное сознаніе неслѣпой своей неподвижности физической тяжести, почти окаменѣлости, и въ то же время уносчивости, непрочности, хотя одно противорѣчить другому: я отчетливо себѣ представляю, какъ безъ борьбы распадется, разлѣтется мое исхудавшее тѣло, но сейчасъ оно приковано къ мѣсту и тѣмъ доступнѣе для губительныхъ силъ, которыя — извнѣ или внутри — его таинственно и слѣпо разрушаютъ. Я всегда былъ одинаково далекъ отъ того, чтобы собой любоваться, и отъ безразличнаго къ себѣ отвращенія и — похожій на столькохъ мужчинъ (кромѣ «эстетовъ», спортсменовъ и чувственниковъ) — не замѣчаю собственнаго тѣла, пока не напомнятъ о немъ болѣзни, опасности и страсти, причемъ эти жестокіе поводы, казалось бы другъ друга исключаютъ, нерѣдко у меня совпадаютъ: такъ напримѣръ въ больничной обстановкѣ я своимъ тѣломъ невольно поглощенъ, я къ нему какъ бы вплотную приблизился, изъ-за всей надъ нимъ постоянной и осязательно-грубой возни, изъ-за всѣхъ неизбѣжныхъ его оголеній, и это неожиданно во мнѣ вызываетъ похотливую горячую возбужденность, конечно безцѣльную и бездѣятельную, направленную смутно и робко — за неизмѣнимъ лучшаго выбора — на миловидную операционную сестру (очаровательная докторша не въ счетъ — она ужъ слишкомъ надменно-недоступна). Мы выбираемъ столь же случайно, мы ошибаемся, неправильно оцѣниваемъ и въ условіяхъ большей свободы — въ зрительномъ залѣ, въ трамваѣ, въ гостяхъ — если рядомъ съ понравившейся намъ женщиной нѣтъ другой, милѣе и моложе, какъ ошибаемся рѣшительно

во всемъ (и въ основномъ, и въ любыхъ мелочахъ, хотя бы въ опредѣленіи роста), при невозможности съ кѣмъ-либо сравнивать еще неизвѣстнаго намъ человѣка, и порой, увлекаясь своихъ выборомъ, забываемъ о его произвольности.

Когда воспаленіе обнаружилось, мнѣ было достаточно скверно — теперь опасность, кажется, прошла, я дышу ровнѣе, свободнѣе, постепенно уменьшились колоти въ боку, и моя полуздоровая природа, ничѣмъ не занятое живое воображеніе усиливаютъ чувственную горячку. Да и вообще въ эти странныя недѣли я поддаюсь различнымъ воспріятіямъ, особенно кожнымъ и внѣшнимъ, которыхъ прежде, разумѣется, не зналъ: такъ ежедневно приходитъ ко мнѣ, для выслушиванья, выстукиванья легкихъ, старенькій, сгорбленный Московскій профессоръ, какъ и хирургъ, бывшая знаменитость, и я довѣрчиво сразу успокаиваюсь, едва ощущая у у груди сѣдую мягкую бороду и теплое ухо, а по ночамъ спокойствіе теряется изъ-за такихъ же мимолетныхъ ощущеній — меня преувеличенно пугаютъ проѣзжающіе на улицѣ грузовики, и шумъ дождя угнетающе растетъ отъ шестста шинъ и отъ жужжанія автомобилей. Какъ то замѣтнымъ становится все, что связано со сномъ и засыпаніемъ — сновидѣнія, дремота, полусны — все, что раньше (отъ поглощенности дѣйственной жизнью) отметалось и грубо забывалось. Сама по себѣ эта вѣчная неподвижность естественно располагаетъ ко сну — при легкой, быстрой моей утомляемости и разъ не нужно сопротивляться и бодрствовать — и вотъ граница, переходныя состоянія возникаютъ сравнительно-часто, и наблюдаются безъ малѣйшей помѣхи. Иногда не успѣваешь уловить, какъ что-то мелькаетъ въ темной пустотѣ, что однако не сгущается въ сонъ, иногда же наступленіе долгаго сна воспринимается отчетливо и точно. Бываютъ и удивительные случаи — такъ недавно, лишь только я уснулъ, неожиданный телефонный звонокъ прервалъ и довелъ до сознанія начало какого-то сна, разбивъ его на кусочки, на множество зрительныхъ и звуковыхъ представленій, объединенныхъ чѣмъ-то мнѣ близкимъ, чѣмъ-то неясно-волнующе-женственнымъ, смутною нѣжностью, которую нарушали трезвишіе, громкіе, досадные голоса (среди нихъ быть-можетъ и мой), разговоры о картахъ, о дѣлахъ, но меня поразило не это, а то, что сонъ продолжался на-яву: онъ тянулся, медленно скользилъ по намѣченно-легкому пути, по своимъ невидимымъ рельсамъ, словно поѣздъ въдали, на краю горизонта — и

вдругъ неумолимо исчезъ. Подобная сладкая нѣжность и живые знакомые голоса, врывающіеся въ наше пробужденіе, нерѣдко намъ кажутся реальностью, потому галлюцинаціей и бредомъ, и не всегда для насъ обнаруживается неподдѣльное ихъ существо — что они какъ бы отзвуки сна, загадочно-страшное отраженіе неизвѣстнаго и чуждаго намъ міра. Бываетъ у меня и обратное — что въ этотъ ночной таинственный міръ врывается непосредственная реальность, что я во снѣ озабоченъ собой, своей любовной и творческой одержимостью, и слишкомъ быстро пытаюсь разрѣшить неразрѣшимые дневные вопросы, съ той безразсудной нелѣпой самонадѣянностью, какая рождается и въ пьяныя минуты. Порой я предчувствую и тороплю пробужденіе — спасаясь бѣгствомъ отъ опаснаго противника, не въ силахъ бороться съ жестокими препятствіями, которыхъ обычно встрѣтить нельзя — но я не вѣрю волшебному смыслу, потустороннему истолкованію сновъ: для меня, вопреки ихъ навязчивости, они не отвѣтъ на наши догадки, не вторая и подлинная жизнь, у нихъ иное назначеніе и цѣль — обновлять воспоминанія, поэзію прошлаго, въ неуправляемой послѣдней человѣческой глубинѣ, придавая этимъ воспоминаніямъ оттѣнокъ особой убѣдительности, особой трепещущей необходимости, такъ что внезапно ими побѣждается неизбежная скука прижизненныхъ смертей, то, чего я предѣльно боюсь. Привожу наглядный примѣръ — мнѣ какъ-то снилась Леля въ кафѣ, сперва съ обворожительной улыбкой, затѣмъ разсѣянно-холодно-чуждая и нетерпѣливо кого-то ожидающая, кто воплотился, разумѣется, въ Павлика и уже былъ рядомъ со мной, и тогда мягко-точеныя Лелины черты, расплываясь въ сонномъ туманѣ, постепенно стали тусклѣть и превратились въ едва различимое пятно, однако проснувшись я сохранилъ очарованіе, свѣжесть, остроту ея незабываемаго присутствія, хотя и не могъ бы воскресить ея лицо, выраженіе глазъ, ея сіяющую ангельскую кожу. Правда, и днемъ, и на яву мнѣ измѣняется зрительная память, но совсѣмъ не вышшія мелочи, не формальная ихъ безошибочность нужны для оживленія прошлаго — оно само приблизится къ намъ, мгновенно отбѣнивъ настоящее, если какой-либо внутренній толчекъ (пускай навѣянный вышними причинами) взбудоражитъ и вызоветъ въ насъ необъятную, щедрую, страстную полноту всего, что кажется мертвымъ, что въ летаргіи до чьихъ-то заклинаній (спящая красавица въ стеклянномъ гробу), и такая душевная, магическая

память, такіе вдохновляющіе сны возсоздаютъ утерянное единство и помогаютъ намъ разобратися въ основномъ — въ судьбѣ и въ любви: вѣдь и любовь, раскрывающая нашу судьбу, становится съ годами неузнаваемой — безпредметной и какъ бы отвлеченной — и въ насъ надолго ее пробуждаютъ ея же тайная прелесть и выстраданность, а не сосѣдство или образъ возлюбленной, и для меня тотъ неясно-мучительный сонъ, напомнившій о счастья и о ревности, оказался почти неотразимымъ — онъ перенесъ въ упорядоченный здѣшній укладъ всю мою прежнюю безрадостную яркость, всю ненеправильную, предтворческую боль, и впустилъ мнѣ потребность возобновить эти давнишнія, трудныя записи.

Они даются труднѣе, чѣмъ раньше — отъ неудобной моей позы, отъ слабости, оттого что я невольно отвыкъ напряженно и много писать — и перечитывая послѣднія страницы, я, удивленный, въ нихъ нахожу непрерывное отраженіе болѣзни и ею вызванныхъ безсчетныхъ переменъ: и повая, поглотившая меня обстановка, и чрезмѣрное вниманіе ко виѣшнему, и странно оживающіе сны мнѣ представляются просто чудесами, неизбѣжными именно въ болѣзни (когда все ошеломительно мѣняется), и одного только чуда не произошло — наиболѣе отраднаго и пужнаго — это внезапнаго Лелинаго пріѣзда. Для меня ея обидное отсутствіе похоже иногда на дезертирство, хотя она и ни въ чемъ не виновата: я самъ настойчиво Риту прошу по возможности Лелю не пугать и аккуратно ей посылаю безпечно-веселыя открытки и письма. Зато меня навѣстилъ (какъ бы завершая «серію чудесъ») мой гимназическій товарищъ Лаврентьевъ. Ему сообщили адресъ отеля (не знаю, кто — онъ предѣльно остороженъ), а изъ отеля направили сюда. Его я помню съ четвертаго класса — великовозрастнымъ, лѣнивымъ второгодникомъ — потомъ кое-какъ, на подсказкахъ, на хитростяхъ, навѣчномъ «три съ минусомъ», онъ перешелъ черезъ всѣ испытанія, осилилъ выпускные экзамены и со мною попалъ въ университетъ. Лаврентьевъ считался «донъ-жуаномъ» и «красавцемъ» — у него отличная фигура (высокій ростъ, широкія плечи, узкая талія, длинныя ноги, все пожалуй даже преувеличенное, такъ что пропорціи едва соблюдены) и овально-круглое, худое лицо, съ тонкими, правильными, чуть мелкими чертами, съ героическимъ шрамомъ на морщинистомъ лбу (неудачное паденіе на каткѣ, что случилось когда-то событіемъ) и съ умышленной игрою сѣрыхъ глазъ, то сія-

ющихъ, то иѣжно-задумчивыхъ, то выразительно-милыхъ и теплыхъ. Онъ первый «стишился невинности», первый завелъ «радиолетерный романъ» (и съ печалью, возбуждавшей нашу зависть, говорилъ, что «порываетъ долгую связь»), онъ былъ единственный въ жизни, въ реальности, въ гимназической вялой суетѣ, и студентомъ уже зарабатывалъ — не отъ какихъ-либо нищенскихъ уроковъ, а помогая въ дѣлѣ отцу, разбогатѣвшему Костромскому подрядчику. Онъ порой намъ глухо рассказывалъ и о своихъ революціонныхъ знакомствахъ, но довѣрія въ насъ не возбуждалъ: мы знали обычную его осторожность и давно между собой рѣшили, что онъ «пустой, неинтересный и средній», и романтическій его ореолъ давно и безнадежно поблекъ. Я запомнилъ въ началѣ войны экзаменъ по римскому праву, необходимый для третьяго курса (и для отсрочки по военной повинности), непонятно-трусливый жалобы Лаврентьева («если не выдержу, то прямо въ окопы»), свою настойчивую, дѣйственную помощь, безмѣрную гордость, что онъ не провалился, и его бурно-веселую признательность. Затѣмъ онъ все же былъ призванъ и, окончивъ иѣхотное училище, устроился гдѣ-то въ провинціи — адъютантомъ запаснаго полка — но свое благополучіе объяснялъ слишкомъ надуманно, возвышенно и сложно: «мы должны для Россіи, для будущаго, сохранить интеллигентскіе кадры». Въ послѣдній разъ я случайно съ нимъ встрѣтился въ Петербургѣ, въ семнадцатомъ году, въ безпросвѣтные, мрачные ноябрскіе дни — Лаврентьевъ неохотно намекалъ на старыя большевистскія связи и на свои усилія въ Смольномъ кого-то съ кѣмъ-то помирить (что нисколько меня не удивило — онъ съ дѣтства улаживалъ ссоры, умѣлъ разнимать драчуновъ и безъ сомнѣнія честно заслужилъ полуслушливое прозвище «миротворца»). О его дальнѣйшей карьерѣ, военно-совѣтской, неслыханно быстрой, достаточно извѣстно изъ газетъ — вѣроятно ему помогло это же свойство со всѣми быть въ ладу, уклоняться отъ участія въ борьбѣ, выжидая ея результатовъ, съ тѣмъ, чтобы во-время противниковъ мирить. Минѣ Лаврентьевъ теперь показался необычайно моложавымъ, гибко-стройнымъ, лишь послѣднимъ и болѣе морщинистымъ — онъ явился сюда оживленный и какой-то съ воздуха свѣжій, въ темно-синемъ безупречномъ костюмѣ, и у него за словами угадывалось завидное спокойствіе человека, себя считающаго полезнымъ и на мѣстѣ, упоеннаго длительнымъ везеніемъ и «кнпучей» непрерывною дѣятельностью (онъ и сейчасъ военный

экспертъ на отвѣтственно-важной конференціи и только проѣздомъ въ Парижъ). Мы непритворно, безъ малѣйшей отчужденности, другъ другу мгновенно обрадовались, и у каждаго изъ насъ пробудилось любопытство къ міру собесѣдника, таинственно-враждебному, волнуящему-новому, и знакомыя руки Лаврентьева, столь непохожія на весь его обликъ — большія, сильныя, жесткія, съ широкими крѣпкими ногтями, обведенными снизу бѣлой каймой — меня вернули къ давнишему ощущенію благожелательной его теплоты, нашей привычной товарищеской близости: это быть-можетъ также произошло изъ-за моей счастливой способности не поддаваться годамъ разлуки и нечаянно вліять на другихъ (что не разъ уже подтверждалось и въ моихъ отношеніяхъ съ Лелей), но была и неоспоримая поддержка Лаврентьева. Мы сперва говорили «нейтрально» — о гимназій, о семейныхъ дѣлахъ — и у обоихъ неожиданно возникло то взаимное тяготѣніе вчерашнихъ соперниковъ, очутившихся рядомъ за бутылкою вина, то прощающее пьяное великодушіе, въ которомъ есть оттѣнокъ влюбленности и которое, подобно любви, пускай на время, въ насъ что-то мѣняетъ. Такъ, незамѣтно забылись, исчезли — отъ одного присутствія Лаврентьева — всѣ мои доводы противъ большевиковъ, все къ нимъ презрѣніе и мстительный гнѣвъ, какъ исчезаетъ всякая ненависть отъ наивно-сочувственной улыбки ожесточеннаго нашего врага, словно мы лучше, добрѣе, чѣмъ думаемъ. Разговоръ перешелъ на политику, и мы упорно оба отстаивали каждый несложную свою правоту, но каждый старался другого понять и щегольнуть «европейской терпимостью» («видишь, мы вовсе не ослабленные фанатики»), и я невольно съ этимъ сравнилъ наши у Лели грубые споры — въ тогдашнихъ моихъ возраженіяхъ Петрику была несомнѣнно и личная задѣтость, чему неумышленно способствовалъ Павликъ и безъ чего мы легко договорились съ Лаврентьевымъ. Когда онъ ушелъ, обѣщая снова зайти, меня разбудилъ постучавшій въ комнату Шура и нарушилъ мое безмятежное спокойствіе непріязненно-рѣзкимъ своимъ отношеніемъ къ тому, что я принялъ «большевика». Не помогли никакія доказательства, что Лаврентьевъ «приличный большевикъ» (онъ избѣгаетъ слова «товарищъ», отзывается холодно о вождяхъ, не побоялся меня навѣстить и со мной не хитрилъ и не лицемѣрилъ) — Шура упрямо стоялъ на своемъ: «вашъ Лаврентьевъ, отъ скуки рѣшилъ посмотреть, какой вы дуракъ, что пошли въ эмиграцію, но

конечно онъ струсить и сюда не вернется». Къ моему удивленію, Шура не ошибся, и Лаврентьевъ, уѣхавъ не попрощавшись, и все же именно передъ Шурой (босвымъ офицеромъ и «героемъ») я гордился военными успѣхами Лаврентьева, точно ихъ жалкій, сомнительный блескъ долженъ былъ и на мнѣ слегка отразиться.

Я все болѣе къ Шурѣ прививаюсь — и не только изъ чувства благодарности за его и Ритины заботы (что иногда у него превращается въ искусственно-ложное умиленіе) — нѣтъ, я дѣйствительно съ нимъ внутренне считаюсь: у него не бываетъ отвлеченныхъ вопросовъ, зато ему свойственно другое — какая-то жизненная серьезность, какая-то настойчивая трезвость, сочетание долга и здраваго смысла, и словъ для показу онъ не ищетъ, меня же единственно прельщаютъ простыя, но вѣрныя и вѣскія слова. Я на себѣ не однажды испыталъ преимущество тѣхъ, кого называютъ — въ наше время съ усмѣшкой — «порядочными людьми», какъ будто порядочность, сознание долга есть признакъ душевной ограниченности и всякій умный человѣкъ выше нелѣпыхъ предразсудковъ, и «все дозволено», и прочее. Но стоитъ подумать о томъ, какъ было бы сложно и путанно жить, если бы насъ всегда окружали такіе презрительные умники и намъ бы никто не довѣрялъ — и вседозволенность сразу отпадаетъ. Шурѣ, я знаю, сейчасъ нелегко, и Рита и онъ работаютъ «какъ негры» (его же излюбленное сравненіе), доходовъ пока «не выколачиваютъ», и строгій, скупой ихъ «командиръ» лишнихъ франковъ «изъ кассы» не выдаетъ, да и самъ прижимисто экономенъ («на себя, молодчага, тратитъ гроши»), однако Шура мнѣ предложилъ брать займы у него безъ стѣсненія: «не беспокойтесь, мы считаемся». Между тѣмъ и, помимо своихъ затрудненій, онъ неохотно расстается съ деньгами («дано, одолжено — похоронено»), къ тому же мое финансовое будущее довольно шаткое и смутное, и наконецъ я могъ умереть, но я заболѣлъ, я близкій пріятель, и значить, не думая, надо помочь. Мнѣ Шуру особенно не хочется «использовать» — я, правда, не столь безупреченъ въ деньгахъ, однако съ немногими друзьями до конца, до неловкости щепетилень, а къ Шурѣ теперь у меня возникло именно дружески-теплое чувство, и въ немъ и въ Ритѣ меньше всего я цѣню ихъ спасительное участіе: я постепенно къ нимъ привязался, словно для этого были нужны, были отмѣрены какіе-то годы, и со стыдомъ, съ тоской вспоминаю свою передъ Шурой неправоту, вызванную соперничествомъ и ревностью. И вотъ

неожиданно произошло одно изъ тѣхъ невозможныхъ чудесъ, которыя здѣсь меня поражаютъ и которыхъ, кажется, не случалось въ обычныхъ «нормальныхъ» прежнихъ условіяхъ: сюда явился Густавъ Тиде, напуганно-ласковый и простой, смѣнившій начальственную важность на благодушную снисходительность (какъ мѣняются взрослые къ больному ребенку, что меня удивляло въ дѣтскіе дни), и уплатилъ мнѣ за мѣсяцъ впередъ и отдѣльно за выполненныя порученія, угадавъ или высчитавъ нужную сумму — ровно столько, сколько я задолжалъ въ отель, въ клиникѣ и Шурѣ. Сейчасъ на время я обезпеченъ, но скоро кончится это время, и надо будетъ возвращаться къ тяжелой будничной колесѣ, къ ежедневнымъ заботамъ и хлопотамъ, когда судьба ни во что не вмѣшивается и ни въ чемъ мнѣ уже не помогаетъ.

Чтобы опять не задалбливаться въ клиникѣ — съ трудомъ получивъ разрѣшеніе врачей — я переѣхалъ къ Ритѣ и Шурѣ, меня давно къ себѣ приглашавшимъ: мнѣ предстоитъ еще недѣлю лежать и нельзя оставаться совсѣмъ одному, хотя кое-что и позволено (ходить въ уборную, на кухню) изъ всего, что было запрещено, и значить милымъ своимъ хозяевамъ я не такъ ужъ нелѣпо и безпомощно въ тягость. Правда, имъ все же пришлось потѣсниться, у нихъ квартирка изъ двухъ комнатъ, и лучшая, большая, уступлена мнѣ, однако надѣюсь и увѣренъ, что скоро смогу перебраться въ отель. Я радъ «свободѣ передвиженій», какъ радуюсь всякой удачливой мелочи, а для меня это даже не мелочь: я не привыкъ за время болѣзни, за мѣсяцъ жестокой неподвижности, къ неспособной, постыдной физической грязи, къ отсутствію ванной, и уборной, къ дурацкой, вынужденной зависимости отъ несчастныхъ, замученныхъ людей. Впрочемъ мое прощаніе съ ними вышло торжественнымъ и трогательнымъ: меня до улицы провожали и старый хирургъ съ казачьими усами, и красивая, бойкая, румяная докторша, изъ-за которой я «подтягивался», и соблазнительная сестра, невольно поблекшая на свѣту, и мрачно-унылый санитаръ, и вотъ на улицѣ, на носилкахъ, передъ собравшимися прохожими, я слегка былъ собою удивленъ и тайно — внутренне — расчванился. Мнѣ всегда удивительно и лестно чужое доброе отношеніе, словно я какъ-то его заслужилъ: такіе проводы уже бывали — послѣ гимназій, послѣ дачи, послѣ

военного училища — и мнѣ тогда казалось диковиной, меня вдохновенно очаровывала эта чужая теплота, эта внезапная «популярность», какъ разъ достигнутая мной — умышленно-замкнуто-одинокимъ: я очевидно не столь одинокъ и теплѣе, привязчивѣй, обыкновеннѣй, чѣмъ съ давнихъ поръ предполагаю, и моя деревянная прежняя сухость вѣроятно исчезла вмѣстѣ съ молодостью и осталась лишь въ мысляхъ о себѣ, упорно цѣпляющихся за прошлое.

Я лежу на широкомъ и низкомъ диванѣ (до меня — супружеское ложе), въ небольшой, аккуратно прибранной комнатѣ, удобной и привѣтливо-спокойной. У изголовья крохотный столъ, на немъ тускловатая лампочка (здѣсь врядъ ли читають передъ сномъ) и самыя нужныя мнѣ вещи — книги, бритва, часы, одеколонъ — напротивъ бархатное кресло, въ которомъ Рита подолгу сидитъ, оживленно со мной разговаривая и внушая мнѣ ощущение уютно-комфортабельной прочности. Меня также весело ободряетъ тысячефранковка въ истрепанномъ бумажникѣ: передъ моимъ отъѣздомъ изъ клиники Шура неистово-азартно торговался, уменьшивъ долгъ на цѣлую треть, и я не впервые удивляюсь точному счету любыхъ мелочей — денегъ, страницъ, папирозъ и минутъ. Эта новая тихая жизнь постоянно и сладостно пріятна и съ предыдущей просто несравнима: вѣдь я какъ бы дома, въ семьѣ, гдѣ заняты мною однимъ, къ тому же ваволированъ Ритинымъ присутствіемъ, непрестанной возможностью ея появленій, даже воздухомъ, ею проникнутымъ. У меня отъ болѣзненной «внѣжизненности» появилась ненасытная потребность въ осязательномъ женскомъ вниманіи, хотя бы наивно-поддѣльнымъ, а кромѣ Риты я не вижу никого, и поэтому на ней сосредоточилась моя нетерпѣливая нѣжливость, устранившая чувственную одержимость, еще недавно столь обостренную. Конечно и Рита во мнѣ возбуждаетъ неясное глухое влеченіе — мы черезчуръ безнаказанно вдвоемъ, она со мной не принуждена не стѣсняется, располагается слишкомъ интимно, полуодѣтая, въ пижамѣ, безъ чулокъ — и конечно въ моемъ положеніи, въ такой, сближающей насъ обстановкѣ соблазнительная всякая молоденькая женщина, однако подлинное Ритино воздѣйствіе поэтическое, нѣжное и чистое, и для меня въ ея гибкости и грани, въ ея чарующей женственной мягкости (которой Лелѣ все же не хватаетъ) есть что-то милое и трогательно-невинное. Я буду странно ее вспоминать: большая, изящная, «хорошая дѣвочка», приносящая съ прогулки цвѣты

— пускай непахучіе, дешевые, городскіе, но это ей сентиментально подходить. У меня со студенческих временъ не могло быть такого поклоненія — безкорыстнаго, по дѣтски беззаботнаго — всѣ мои длительно-сложные «романы» были жестокими, душевными, взрослыми и, какъ у взрослыхъ, обоюднo-безжалостными. Незамѣтно и Рита вовлеклась въ роль утѣшительницы, сидѣлки, подруги, и у насъ бывали неловкія ожиданія какой-то возможной пугающей близости, какихъ-то послѣднихъ рѣшительныхъ словъ, но мы смущенно, безсильно робѣли (одна изъ рѣдкихъ счастливыхъ неудачъ), и я реально, во-внѣ, оставался безправно-лишнимъ при Шурѣ и Ритѣ, какъ когда-то при Лелѣ и Павликѣ, и стоило Шурѣ войти — невыносимо громко и властно — и уже, расхоложенно-трезвая, Рита къ нему начинала тянуться, съ обычной слѣпой своей покорностью. Я постепенно себя уговорилъ, что сознательно Риту щажу, что она и Шура единственные друзья, меня поддерживавшіе въ бѣдѣ, что я имъ безконечно обязанъ и просто выполняю свой долгъ, не поддаваясь такому искушенію, но, разумѣется, это обманъ, лицемерно-красивая поза, малодушный отказъ отъ «честности съ собой»: на самомъ дѣлѣ я только боюсь нелѣпой, тягучей «исторіи», беспощадной Шуриной прямоты (несмотря на показной его цинизмъ), разрыва, чуть ли не развода и своей дальнѣйшей отбѣтственности, я боюсь и Лелиныхъ упрековъ, если откроются мои «отношенія» съ ея ближайшей, старинной пріятельницей — какъ бы Леля со мной ни поступала, какъ бы она ни отрекалась отъ прошлаго, у меня все та же потребность ей нравиться, быть безукоризненнымъ, готовымъ считаться и ждать, мнѣ оттого попрежнему жаль свободы, ей предназначенной, и странно, по собственной винѣ, лишиться остатковъ надежды — и вотъ, для себя разоблачивъ истинный смыслъ своей добродѣтели, свой страхъ передъ Лелей и Шурой, я возвращаюсь къ первымъ утвержденіямъ (о долгѣ, о дружбѣ, о признательности) и цѣлкомъ ихъ отбросить не могу. Они лицемерны и живы, поскольку будто бы отъ нихъ зависить мое поведеніе, однако по существу они искренни: я несомнѣнно Шурѣ благодаренъ (безъ тайной борьбы съ уязвленнымъ самолюбіемъ, безъ малѣйшей примѣси горечи и злобы, а по тому, какъ благодарность ощущается, мы можемъ всегда безошибочно судить о чувствѣ къ людямъ, ее вызывающимъ, и значить къ Шурѣ я дѣйствительно привязанъ), но въ насъ, увы, мужская нелюбязливость, переходящая въ грубое предательство,

неизмѣнно сильнѣе дружбы и долга, и всякая мужская «побѣда» сейчасъ же оправдана въ нашихъ глазахъ особымъ молодецескимъ тщеславіемъ, и если я все же устоялъ, не добивался успѣха у Риты и не нарушилъ дружеской лояльности, то объясняется моя безупречность лишь житейской и любовной расчетливостью. Отъ этихъ колебаній и выводовъ меня какъ-то сразу отвлекли ошеломительныя свѣдѣнія о Лелѣ.

Шура, послѣ ряда намеконъ (похожихъ на извѣстный анекдотъ, — «супругъ вашъ боленъ... при смерти... умеръ»), мнѣ искусственно-небрежно сообщилъ, что Леля вышла замужъ за Павлика, и передалъ ей письма изъ Канинъ, отъ меня заботливо скрывавшіяся. Я отнесся почти равнодушно къ ея непонятному замужеству, съ какимъ-то вышнимъ любопытствомъ — «ну что же, посмотримъ, подождемъ» — и съ чуть театральной проноіей («ингу давно проигралъ, давно покорился неизбежности, и огорчаться снова — бессмысленно»). Мнѣ даже стало спокойнѣе, уменьшилась ревнивая досада, я внутренне съ Павликомъ мирюсь — онъ тоже исполнилъ свой долгъ и оказался болѣе задѣтымъ, чѣмъ можно было предполагать (что для соперника всегда утѣшительно), и теперь онъ все-таки мужъ, любовно и жизненно къ нему примѣняться отнынѣ Лелина обязанность, а не капризъ, не выборъ, не страсть, и ему не стоитъ завидовать. И все же этимъ замужествомъ я занятъ какъ-то по новому — приглушенно-обикновенно-сладостно — и въ то же время, сленно одержимый, съ навязчиво-горькой остротой, и для меня померкло, исчезло чарующее Ритино сіяніе, лишь только рядомъ возникъ тревожно-слѣпичій, терзающій блескъ моего неподдѣльнаго чувства, единственно вѣрнаго и нужнаго: оно когда-то меня захватило, при моемъ поощряющемъ согласіи, и отъ него освободиться нельзя, какъ бы къ этому я ни стремился. Сейчасъ, ни на что не надѣясь, въ отчаяніи, въ тоскѣ, я придумалъ злорѣдно-позднее къ Лелѣ обращеніе и его повторяю безъ конца: «милый другъ, ничего не случилось, и формальная у васъ перемѣна не кажется мнѣ поразительной, въ нашу старую, вѣчную тяжбу не разъ уже кто-то врывался (то Бобка, то Павликъ, то Шура), и всякій разъ, на долгое время, безъ колебаній вы жертвовали мною — изъ-за моей ли покорной выносливости, оттого ли что, по вашимъ словамъ, мнѣ «эта роль», эта отвергнутость подходить или вы просто предпочитали «другихъ» — и если теперь узаконена очередная ваша «авантюра», не все ли равно, почему и на какой, неизвѣстный

заранѣе срокъ».

Но Лелѣ я спѣшно отправилъ любезно-поздравительное письмо, и тутъ ей пытался польстить, поправиться вниманіемъ и выдержкой, знакомой, привычной болтовней (вотъ вы почти «хозяйка салона»), да и Леля писала не такъ, какъ полагается счастливой невѣстѣ, молодоженамъ вскорѣ послѣ свадьбы, довольнымъ, упоеннымъ собой. Ея растерянно-сердечныя письма — некстати — были полны заботливо-дѣльными вопросами обо мнѣ, о здоровьи, о моемъ одиночествѣ («ужасно, что я не въ Парижѣ»), и только вскользь она упоминала о свадьбѣ, о денежномъ устройствѣ, о «привѣтахъ и пожеланіяхъ» Павлика. Меня почему-то возмущили невинныя слова объ «устройствѣ» и косвенно, странно привели къ негодующимъ мыслямъ и къ зависти, къ желанію — снять-таки издали, въ горячемъ воображаемомъ спорѣ — безповоротнo Лелю осудить:

— Вѣдь вы недавно еще говорили о совместной жизни со мной и что намъ не хватаетъ лишь денегъ, а въ послѣднихъ письмахъ изъ Каннъ вы мимоходомъ сообщаете о томъ, какъ блестяще Павликъ «устроенъ» въ богатомъ фильмовомъ дѣлѣ, о его отвѣтственной работѣ, о съемкахъ на югѣ и будущей карьерѣ, и съ обычной безстрашной откровенностью или наивно (тѣмъ хуже) поясните: «мы обязаны всѣмъ Сергѣю Н.» Разумѣется, это вмѣшательство, эти его услуги и помощь были вызваны вашимъ заступничествомъ, умѣлыми вашими просьбами, обращенными къ нему въ Голливудъ, и я не понимаю одного — что за меня вы не просили, не вступались въ то рѣшающе-трудное время, когда я безсильно боролся за нашу «совѣстную жизнь» и ничего добиться не могъ изъ-за отсутствія чьей-либо поддержки. Вы скажете, я бы не принялъ протекціи, услугъ Сергѣя Н., васъ любившаго, хотя и неудачно, и съ вами денежно-щедрого, увы, потому что онъ любилъ. Я знаю вашу снисходительность къ чужимъ материально-жизненнымъ «компромиссамъ», къ долгамъ и расходамъ выше средствъ, къ непочетной Бобкиной роли, и знаю, моя щепетильность — особая, узкая, только любовная — едва ли вами оцѣнена, какъ и моя искусственно-гордая и вотъ-вотъ малодушная нищета, но именно вы, умно отрицающая нелѣпыя денежные условности, вы ни разу, пока еще не было поздно, не постарались меня образумить, вамъ очевидно вовсе не хотѣлось нашъ неппрочный союзъ закрѣпить, и пожалуй — тайно отъ себя — вы избѣгали такого закрѣпленія, сомнительно и скупо любили, и значить я попросту вы-

думалъ все свое убогое счастье. Однако, боясь моей ще щеп тильности, вы явно подчеркнуто пишете объ охлажде нѣи къ вамъ Сергѣя Н., что будто бы всюду пашумѣлъ его романъ съ нѣмецкой актрисой и что теперь его по кровительство неоспоримо-дружески-чистое и просьбу васъ не унижаютъ, но по моему въ вашихъ словахъ есть какая-то фальшь и подтасовка, и нужно ихъ разобла чить. Если у насъ одинаковые взгляды на то, что въ лю бовныхъ отношеніяхъ дозволено и что недопустимо, если и вы признаете непорядочнымъ извлекать изъ со перника пользу и въ письмахъ защищаете Павлика отъ возможныхъ моихъ обвиненій, мнѣ кажется, вы непо слѣдовательны: не все ли равно, кто долженъ помочь, кто благодѣтель вашего мужа, человекъ неизмѣнно васъ любящій или недавно къ вамъ охладѣвшій и гото вый такимъ простѣйшимъ путемъ отвязаться отъ скуч ныхъ заботъ, разъ это его покровительство въ обоихъ случаяхъ вызвано любовью. Если же вы съ улыбкой отвергаете мою «устарѣвшую мораль», то были непослѣ довательной прежде, когда покорно, молча принимали всю нашу въ вами долгую безвыходность (отъ стойко сти, по вашему напрасной) и словно не хотѣли продлить мое счастливое, лучшее время, а оно не фантазія, не выдумка, вопреки моимъ сегодняшнимъ сомнѣніямъ, и вы меня по своему любили. Я помню грудной, дрожащій вашъ голосъ, низкія интонаціи, послушно скло ненную голову, необманчиво-встревоженные глаза, и для меня основное различіе между вашимъ тогдашнимъ чувствомъ ко мнѣ и теперешнимъ, столь дѣйственнымъ, къ Павлику — не въ подлинности, даже не въ степени, а въ чемъ-то практически-внѣшнемъ, чему пожалуй вы удивитесь. Порой незначущая фраза, какъ будто лест ная и милая, воскресаетъ неожиданно въ памяти — на глядно, рѣзко и точно — и освѣщается вдругъ по ино му: вотъ такъ — припоминая вашъ голосъ — я отчет ливо снова услышалъ вашу странную шутку о «мѣсяцѣ въ деревнѣ», о томъ, что вамъ хочется «разъ навсегда» осуществить невыполнимую мечту, на время, на нѣс колько недѣль, со мной запереться въ глуши, «все бросить къ черту, а тамъ будетъ видно», и внезапно шутливое это желаніе представило въ истинномъ свѣтѣ. У васъ была упрямая цѣль, пускай боязливо неосоз нанная — меня «долюбить», какъ бы всего исчерпать, и затѣмъ благоразумно разойтись: вы охотно, легко поддавались моей непрерывной къ вамъ нѣжности, вниманію, услугамъ, похвазамъ, но становились раз сѣленно-холодной, едва подымаясь спросъ о какихъ

либо рѣшеніяхъ и планахъ, и меня никогда не считали своей «серьезной» жизненной опорой. Въ этой небрежной вашей снисходительности что-то было незлѣе-обиднее: я именно себя ощущалъ опорой, вамъ предназначенной — какъ ни странно, и въ области житейской (мнѣ казалось, попади я въ колею — и преуспѣю не хуже другихъ) и ужъ конечно въ области возвышенной. Я вѣрилъ, что буду надежнымъ союзникомъ, способнымъ — и вдохновенно, и умѣло, безъ колебаній, безъ шаткости и дряблости — отстаивать нашу собособленность, прямую и ровную нашу судьбу, и съ тѣхъ поръ, какъ вы мною пожертвовали, у меня появилась потребность отыгратъся, достойно отрешившись (по дѣтской формулѣ — «я имъ докажу, и тогда они раскаются, но поздно»), и мстительная эта потребность неудержимо во мнѣ возрастаетъ. Не знаю, какой мой громкій успѣхъ — любовный, писательскій, денежный — васъ пройметъ и чего дѣбаваться, я только знаю, что васъ бы унизили такимъ необычайнымъ успѣхомъ и своимъ превосходствомъ надъ Павликомъ, и къ этому безсилно стремлюсь, пока же единственное мое преимущество — неоцѣненная вами порядочность, надменная, глупая бѣдность, быть-можетъ одна изъ тайныхъ причинъ пораженія въ неравной борьбѣ.

Все это ничтожно и мелко — я, разумѣется, къ Лелѣ не обращусь и Павлика не стану оговаривать, что было бы теперь, послѣ свадьбы, запоздалой и бесполезной жестокостью — но замалчиваніе такихъ возраженій, такая гнѣвная, скрытая горечь, такая раскаленная духота оказалась нечаяннымъ поводомъ для множества мыслей о прошломъ, къ тому же прилежно додуманныхъ въ особой отрѣшенно-медлительной и вдохновляющей «атмосферѣ болѣзни», въ одинокіе, тихіе, пустые вечера. Эти упорныя, трезвыя мысли, съ безжалостнымъ «подведеніемъ итоговъ», возникаютъ сравнительно рѣдко или же сразу незамѣтно вытѣсняются, когда — не болѣя ничѣмъ, не заботясь, не помня о здоровьи — мы равноправно участвуемъ въ жизни и какъ-то проще смотримъ на міръ, обыкновеннѣе, пристрастнѣе, грубѣе, но сейчасъ я ко всему подхожу неторопливо, смягченно, со стороны, и вотъ естественно падаетъ гнѣвъ, первоначально меня вдохновившій, и на самые трудные вопросы, при желаніи, можно найти безутѣшно-правдивые и точные отвѣты. Ихъ полнотѣ нисколько не вредить преувеличенное мое благородство, неумолимая строгость къ себѣ, снисходительность въ оцѣнкѣ другихъ: мы такъ наивно собой упоены,

что даже при этихъ условіяхъ равновѣсіе еще не достигается, и есть какая то прелесть и сила въ подобной стоической внутренней позѣ, въ соединеніи терпимости и мужества, въ безконечной готовности каждаго щадить, не ожидая, не требуя ни щадя.

Вся моя молодость и зрѣлыя голы были мучительно-возвышенно-сложны — я одинаково шелъ напроломъ, когда ненавидѣлъ и любилъ, затѣмъ, утомленный, добившись покоя, и отъ него старался уйти, а главное, я не довольствовался половинчато-скупыми отношеніями, какими обычно люди довольствуются, и непомѣрно тяжело ощущалъ свое съ ними явное несходство: мнѣ казалось непонятнымъ ихъ умѣние скользить по событіямъ, внутренне разбрасываться, отвлекаться отъ самаго нужнаго, чѣмъ-то искусственнымъ себя утѣшать и мириться со всякой неудачей, и меня удивляли — огорчая — возлюбленные, немногіе друзья, то устало, то рѣзко уклонявшіеся отъ моихъ напряженныхъ усилий, сосредоточенныхъ всегда на одномъ, я нелѣпо отчаивался въ ихъ вѣрности и не разъ имъ пытался внушить непрерывную свою одержимость, но именно этой своей непрерывностью больше всего ихъ какъ-то пугалъ, и каждый разъ, послѣ долгой борьбы, я печально въ себѣ замыкался, подавляя брезгливую горечь, продолжая беспомощно любить (уже обостренно-безнадежно), лишь иногда возмущаясь судьбой, меня избравшей для бессмысленныхъ опытовъ. Я стремился къ воплощенію въ реальности тѣхъ любовныхъ и дружескихъ чувствъ, которыя были мнѣ суждены, со всей ихъ неуступчивой страстностью, и невольно переносилъ на окружающихъ непримѣненную въ любви теплоту, однако въ лучшіе, рѣдкіе дни такихъ — мимолетныхъ — воплощеній я по-дѣтски хотѣлъ осчастливить еле знакомыхъ, случайныхъ собесѣдниковъ и нуждался въ ихъ отвѣтной доброжелательности: у насъ причудливо-тѣсно сплстаются чужое, общее — и близкое, свое — и мои самодовлѣющія чувства не однажды во мнѣ вызывали отраженную, всѣмъ предназначенную (изъ благодарности, порою отъ избытка) неистощимую душевную щедрость. Повидимому ей предстоитъ еще разрастись, оторвавшись отъ истоковъ, постепенно мной овладѣть, какъ бы «окрасить» все мое будущее — за-благовременно, вслѣдъ за другими, я долженъ «переставляться на старость», замѣняя эгоистически-личное великодушно-высокимъ и жертвеннымъ: вѣдь это — единственная радость, намъ доступная передъ концомъ, и значить опять-таки и въ ней есть оттѣнокъ

чего-то эгоистического. И я снова жалко терплю въ неустранимой нашей раздвоенности, въ колебаніяхъ и вѣчныхъ перемѣнахъ — отъ себя къ окружающимъ и къ міру и отъ міра, отъ праздности, къ себѣ. Неизбѣжность этихъ колебаній мнѣ представляется все же законной — намъ равно и смертельно необходимы любовно-созерцательная замкнутость (изучая, творя, упиваться собой) и человѣческая властная поддержка, ради которой мы идемъ на притворство, на лицемеріе, на злостный обманъ, и въ которой можемъ найти — пускай неполную — разгадку нашей сущности: такъ мы часто къ людямъ относимся черезчуръ терпѣливо и терпимо, съ какой то напускной предупредительностью, и слишкомъ лестно о нихъ отзываемся (въ расчетѣ, что имъ передадутъ) не только для практическихъ цѣлей, изъ состраданія, прося о состраданіи, но и отъ горькаго страха одиночества — и у другихъ намъ тайно-враждебнаго — отъ надежды на кого-то опереться или же быть чьей-то длительной опорой. И какъ ни откровенно-эгоистичны первоначальныя наши побужденія, мнѣ, кажется, въ такія минуты мы выходимъ изъ темнаго строя вселенской жизни, бездушнѣй и хищной, мы бываемъ (себѣ несомнѣнно во-вредъ) благороднѣе, участливѣй, ибѣжнѣе, просто смѣлѣе и Бога, и судьбы, сопротивляясь повелительнымъ инстинктамъ соревнованія, стяжательства, зависти, желая видѣть спасеніе тамъ, гдѣ оно едва ли достижимо — въ добровольной нашей беззащитности и круговой поруки до вѣрїя...

Но иногда въ оскорбительно-грустные часы паденія, душевной усталости, особенно утромъ, зимой, послѣ ночныхъ оживленныхъ разговоровъ и беззаботно-веселаго подъема (отъ кофе, отъ женщинъ, отъ вина), въ часы унынія, тупости, лѣни, я злобно-скептически далеку и этимъ возвышеннымъ свойствамъ, и гордости за наше «безуміе», и всему «патріотизму человѣчества», и каждое сдѣланное нами усиліе смягчиться, кого-то смягчить, мнѣ представляется легко объяснимымъ — попыткой приспособиться къ отчаянію, задабриваньемъ, похожимъ на взятку. Въ такіе безотрадные часы я лишаясь обычной увѣренности, что осмысленно, по своему, живу и что любовное мое напряженіе, весь лихорадочно-жаркій мой пылъ создаютъ какъ бы взрывчатую энергію, которая мною руководитъ, и гнетущее это сознаніе неоправимой внутренней бѣдности, зависимости отъ вѣшнихъ мелочей, отъ случайныхъ привязанностей и взглядовъ, острѣе меня задѣваетъ,

чѣмъ безцѣльные (въ такомъ состояніи), отвлеченно-холодные «общіе вопросы». Невольно въ эти часы я начинаю задумываться о прошломъ и нахожу все новыя доказательства своихъ неудачъ или слабости, какой-то своей неодаренности, и можетъ-быть не очень ошибаюсь: вѣдь при упорствѣ, мной обнаруженномъ, я не сумѣлъ ни разу добиться того, къ чему годами стремился, и многія мои пораженія вызывались не чрезмерностью требованій, но безпомощной вялостью порыва, и для меня унижительное всего, съ наибольшей наглядностью меня разоблачаютъ чисто-мужскія мои похождения, не отягченные примѣсью романтики. Я не знаю, не жду, не испыталъ безразсудной физической страсти, готовой на рискъ и на жертвы, способной вынести любыя издѣвательства, подвергнуться смертельной опасности и, если надо, «перешагнуть черезъ трупы» — я слишкомъ осторожно-боязливъ и до этого себя не допущу — но и съ тѣми неяркими женщинами, которыя меня привлекали, между прочимъ, «нормально», поверхностно, и съ ними я все же бывалъ непростительно-постыдно-неловокъ. Моего донъ-жуанскаго, тяжелаго притворства нерѣдко хватало на то, чтобы возникло подобіе интимности, пріятной, заманчивой игры — и вскорѣ (отъ робости, отъ лѣни) незамѣтно у меня происходила перестановка на прѣсную дружбу, и эту дружбу я принималъ съ досадой и тайнымъ облегченіемъ. Такое двойственное чувство поймутъ еще неопытныя юныя кокетки, безпокойно флиртующія «вѣрныя жены», и пожалуй нѣчто похожее говорила мнѣ Леля о себѣ, когда я слегка ее дразнилъ полуобиднымъ словечкомъ «allumeuse»: «скажите проще и я соглашусь — блудлива какъ кошка, труслива какъ заяцъ» — и она же, съ искренней горечью (за меня и конечно за себя), не однажды мнѣ ставила въ примѣръ побѣды, ухаживанія Павлика, его покорно, привычно ревнуя и ему восхищенно завидуя («нужно стараться — не то, что мы съ вами»). Правда, я могъ бы возразить, что Павлику «не нужно стараться», что у него какъ бы врожденный успѣхъ, а у меня постоянныя препятствія — бездѣлность, слѣбая, неизлѣчимая влюбленность — но въ чемъ-то Лелины упреки неизвинительно мною заслужены: я уступалъ во всякой борьбѣ, я радовался всякому предлогу для поспѣшныхъ своихъ отступленій и теперь — какъ старѣющія «вѣрныя жены» — хотѣлъ бы упущенное нагнать. Едва ли не самое позорное, что и всѣ мои любовныя романы, въ этихъ записяхъ столь возвеличенные и меня цѣликомъ пересоздавшіе, мнѣ сперва были

какъ-то навязаны, что имъ предшествовалъ толчекъ со стороны, чуть не приказъ или внушеніе той, кого я впослѣдствіи любилъ: недаромъ каждую изъ трехъ моихъ «подругъ» такъ обоснованно, такъ долго смущали мои признанія, дѣйствительно ложныя, на которыхъ я однако настаивалъ — отъ малодушія, изъ вѣжливости, отъ жалости, послѣ вина отъ пьяной умиленности, иногда и отъ внутренней неясности, отъ предвидѣнія какихъ-то возможностей. Затѣмъ, неизбежно и сразу, это ко мнѣ глухое недовѣріе — изъ-за моей неожиданной отвѣтности — смѣнялось короткимъ временемъ счастья, безупречныхъ и равныхъ отношеній, восторженной взаимной благодарности, и тогда уже я перебарщивалъ, унижался, просилъ, не довѣрялъ. Такъ несомнѣнно было и съ Лелей — я даже считалъ ее виновницей моего безнадежно-убогого смиренія, возмущаясь и не помня о прошломъ, неумолимо ею же вытѣсненномъ, но сейчасъ, какъ всегда въ ся отсутствіи, у меня съ этимъ горестнымъ прошлымъ возобновляется кровная связь, и постепенно я убѣждаюсь, что напрасно Лелю обвинялъ я что скорѣе она черпала мои давнишнія печальныя свойства — непротивленія, пассивности и слабости. И все же не иллюзія, не выдумка — жизненно-страстная моя полнота, но что-то неуловимо порочное ей мѣшаетъ проявиться во-внѣ, тотъ избытокъ желаній и требованій, который нельзя упорядочить и который, отъ каждой неудачи, отъ каждой безсильно-злопамятной обиды, еще непомѣрно растетъ и наконецъ трагически взрывается. Однако и подъ тягостнымъ гнетомъ такихъ необузданныхъ желаній, не находящихъ, во что разрѣшиться, и не подавленныхъ холодной головой, въ испугѣ передъ жизнью и людьми (вотъ основная причина всего — бездѣятельности, робости, лѣни), я сохраняю веселую безпечность и въ эту самую минуту упоенъ знакомой умственно-душевной лихорадкой и какъ-то вѣнужденъ къ Лелѣ обратиться, къ ней отнести и ей посвятить свое напряженно-высокое волненіе:

— Я вновь позорно и радостно сдаюсь — моя попытка бесѣдовать съ собой, говорить о себѣ, а не о васъ, я знаю, провалилась навсегда: эти послѣднія скучныя записи, со всей ихъ фальшивой объективностью и при всей ученической моей добросовѣстности, превратились въ описательно-вялый дневникъ — и пускай вы меня разлюбили, пускай разстались, порвали со мной, я могу, я васъ долженъ любить и безъ вашей отвѣтной любви и конечно рисуюсь не теперь, въ воображаемомъ съ вами общеніи, но рисовался, исповѣдуясь

себѣ. Вѣроятно при встрѣчѣ я вамъ не скажу — отъ осознанно-гордаго отчаянія — о вашей чудодѣйственной власти — зато въ одиночествѣ, на этихъ страницахъ, я спокойно готовъ расписаться въ безутѣшно-счастливымъ своемъ подчиненіи и съ такой же предѣльной откровенностью буду гнѣвно на васъ нападать.

Мнѣ кажется, странная особенность повторныхъ этихъ упрековъ — въ моемъ стремленіи не только найти исчерпывающе-ясные доводы, но и облечь ихъ въ поэтическія формулы или въ ударно-мѣткія фразы, какъ будто стоить ихъ выразить иначе, и мгновенно они потускнѣютъ, обезцѣнятся, низко падутъ — до уровня мелкихъ придирокъ и пустого сведенія счетовъ. Одну изъ такихъ обобщающихъ формулъ (о васъ — «ни прощенія, ни мести») я какъ-то уже приводилъ, и до сихъ поръ она передаетъ мое къ вамъ раздвоенное чувство, раздвоенность и всей моей природы, злопамятной, однако не мстительной. Другая, столь же правдивая, явилась у меня сама собой, въ началѣ нашего романа — послѣ первой съ вами размолвки — она касалась «нашихъ отношеній» (вы увѣряли тогда — «замѣчательныхъ») и намъ быть-можетъ еще пригодится. Въ тѣ дни я боялся ее записать, чтобы не «сглазить» рѣдчайшаго везенія — теперь ея мудрая скромность, любовная ея неприязнательность васъ могли бы со мною примирить, возстановить какую-то взаимность, и вотъ теперь мнѣ надо записать, мнѣ легко и нестыдно припомнить иронически-грустные тогдашніе слова: «я иногда вамъ, Леля, не показываю своихъ неуступчивыхъ требованій, вы скрываете свою нелюбовь, и каждый изъ насъ отдыхаетъ лишь въ эти блаженные часы, полусознательно, смутно понимая, что второго такого собесѣдника, такого друга ему не найти, что такъ и достойнѣе, и лучше». Но это — мое къ вамъ обращеніе, а формула проще и короче: «я скрываю любовь, вы — нелюбовь». Нѣсколько позже я какъ-то придумалъ шутивно-опасный нашъ разговоръ, вашъ нелѣпый, безцѣльный вопросъ — «почему вы меня разлюбили?» — и на него извительный отвѣтъ: «я васъ не разлюбилъ — и не любилъ». Мой отвѣтъ былъ ребяческой ложью, но не вы ли мнѣ подали мысль (хотя бы косвенно — своимъ непостоянствомъ), что внутренняя тяжба влюбленныхъ и весь ихъ споръ о первенствѣ и силѣ кончаются просто и грубо — состязаніемъ обоихъ въ равнодушіи — и я не изъ-за васъ ли пытался участвовать въ этомъ состязаніи, себѣ искусственно и жалко помогать. И если въ идиллическое время вы часто меня принуждали такъ дурно

о васъ отзываться, то сколько же прибавилось потомъ озлобленныхъ и строгихъ обвиненій — мнѣ все необходимо ихъ высказать и хочется о нихъ позабыть.

Разумѣется, всего, чѣмъ мы задѣты, никакими сложнѣйшими способами изъ памяти нельзя устранить и непосредственной «ангельской» доброты, прощающей измѣны и обиды, почти ни у кого не бываетъ, кромѣ развѣ «подвижниковъ», «святыхъ» и людей черезчуръ мягкотѣлыхъ, но и мы, обыкновенные люди, съ эгоистическимъ инстинктомъ самозащиты, мы тоже по разному стремимся къ очеловѣченію, къ терпимости, къ добру, и приблизимъ ихъ осуществленіе, если сумѣемъ какъ-то разрядить накопленную въ молчаніи ненависть, если найдемъ полновѣсныя, нужныя слова, избавляющія насъ отъ потребности въ ожесточенно-безжалостныхъ поступкахъ. Это не только писательское свойство — въ безысходно-тяжелыя минуты всѣ одинаково ищутъ друзей понятливо-сердечныхъ и умныхъ, и можетъ-быть писательская склонность (пускай потенциально-дневниковая) предохраняетъ многихъ изъ насъ отъ напрасныхъ, чрезмѣрныхъ изліяній. Попробую кратко передать одинъ изъ тѣхъ мучительныхъ случаевъ, которыхъ, при всемъ своемъ безстрашіи, я прежде коснуться не могъ. Это было, когда ликвидировался вашъ упрощенный съ Шурой «романъ», послѣ смерти несчастнаго Маркъ Осиповича и Ритинаго пріѣзда съ каникулъ — мы проводили съ ней вмѣстѣ вечера, и до сихъ поръ меня преслѣдуетъ картина, отчетливо-живая, какъ тогда: вы у себя на кушеткѣ, а рядомъ устало-довѣрчиво-томная Рита, наивно и нѣжно вамъ благодарная за помощь, за твердую поддержку, за Шурино рѣшеніе жениться, ся лицо, съ закрытыми глазами, покоится у васъ на плечѣ, и вы тихонько ей гладите волосы, двусмысленно Шурѣ улыбаясь и наслаждаясь своимъ торжествомъ. Я въ тотъ вечеръ еще не догадывался о Шуриномъ согласіи жениться, объ усиліяхъ, вами примѣненныхъ (да они и не смягчали происшедшаго), и упивался наглядной вашей виной, мнѣ почти сладострастно хотѣлось, чтобы у Риты «открылись глаза», чтобы она поняла и увидѣла вызывающее ваше предательство и передъ всѣми васъ бы оскорбила — незабываемо, внезапно, осязательно, отомстивъ и за себя и за меня — но Рита ничего не поняла, и вы остались, какъ раньше, безнаказанной. Такія или схожія картины, чудовищные ваши отвѣты на сочиненные мною вопросы я безъ конца себѣ воображалъ, переводя нашу любовную борьбу изъ области реальной въ фантастическую, од-

нако и эти измышленія были связаны съ чѣмъ-то реальнымъ и полутворчески его дополняли, мнѣ помогая въ немъ разобраться, внушая несложные выводы, иногда чересчуръ прямолинейные. Изъ нихъ едва ли не первый — что всякая женская измѣна непоправима, навѣки непростительна: до собственного горькаго опыта, мечта о высшей справедливости, я съ жаромъ отстаивалъ обратное — теперь, неизбежно присмирѣвъ, я раздѣляю мнѣ чуждыя воззрѣнія людей старомодныхъ и косныхъ, что женщина, усвоившихъ «мужскую психологию», нельзя, невозможно любить, остальныхъ же намъ измѣняютъ безповоротно, всѣмъ существомъ, и такихъ мы должны разлюбить. Это было, увы, подтверждено и вашимъ романомъ и бракомъ, и — особенно — пьянымъ, шальнымъ безобразіемъ вашей ночи, единственной, съ Шурой, несомнѣнно васъ напугавшей, но ускорившей наше расхожденіе. Меня перестали возмущать и, въ сущности, давно не поражаютъ ваши упорныя, частыя измѣны, съ отгѣнкомъ супружеской невѣрности: я ихъ заранѣе предвидѣлъ, готовился къ уходу и къ жертвамъ и васъ не очень порицалъ (опять «ни прощенья, ни мести»), я безъ рисовки искренне пытался, не осуждая, все принимать — и васъ, какою вы созданы, и любовную вашу неодаренность, постоянно меня заставлявшую любить одному и за двоихъ (что не искусственно и даже не смѣшно) — моя привязанность къ вамъ сохранилась, вопреки моимъ теперешнимъ взглядамъ, зато безнадежно развѣнчано хвалено ваше превосходство. Такъ я когда-то смутно оправдывалъ жестокости, дурные поступки, если и вы ихъ могли совершить, и оправдывалъ мысли и вкусы, мнѣ враждебные, но близкіе вамъ — непогрѣшимой въ чемъ-то основномъ — сейчасъ въ безобиднѣйшихъ вашихъ словахъ я ищу не то, что въ нихъ есть, а язвительно-грубые намеки, порою зависимость отъ тѣхъ, кого обычно я презираю. Эти придирки и это сниженіе — пока неуловимо, незамѣтно — начинаютъ во мнѣ разѣдять столь упрямо возвышенное чувство, мои къ вамъ суровыя требованія постепенно какъ-то слабѣютъ, я легче мирюсь съ относителѣннымъ и спокойнѣйшій довольствуюсь немногимъ. Я у себя нерѣдко узнаю то вялое, «среднее состояніе», еще не лишенное любви, однако уже не любовное, въ которомъ недавно васъ уличалъ, распространивъ его и на прошлое: мнѣ казалось, такъ было всегда — что вы избѣгали со мною чрезмѣрной любовной полноты и меня въ то же время удерживали, боясь и оттолкнуть и приблизить. Подобное «среднее состояніе» скупѣе,

хуже, скромнѣе любви — и тѣмъ защищеннѣй и устойчивѣй: не отъ него ли и новая съ вами выжидательно-бездѣйственная поза, не только обидчиво-гордая, но и сонно-пріятная, душевно-лѣнивая. Быть-можетъ по этой причинѣ мнѣ сравнительно нетрудно писать: когда мы оба въ Парижѣ и ежедневно съ вами встрѣчаемся, въ пылу опасеній и надеждъ, я долженъ для творческой работы непремѣнно отъ васъ уходить, освобождаться хотя бы насильственно, когда же, послѣ долгаго отсутствія, вы становитесь призрачно-далекой, я погружаюсь въ нѣмую пустоту, могу и совѣмъ отбѣгать, если въ памяти васъ не оживлю — очевидно моему вдохновенію нужна какая-то мѣра любви, теперь нечаянно мною достигнутая. Но всякое наше равновѣсіе въ этой области до ужаса непрочное, и то, чѣмъ любовь моя питалась — заботы, «культивированіе», ревность — по старому ей необходимо, иначе равновѣсіе нарушится. Я съ огорченіемъ и грустью убѣждаюсь, что не ревную, что вами не поглощенъ, и мнѣ страшнѣе любовной безответственности такое мертвое мое благополучіе, разговоры, занятія, книги, рѣдѣющій воздухъ фотографій и писемъ, я не хочу имъ болѣе дышать и, утомленный, вдругъ ощущаю, какъ меня бы взволновалъ и освѣжилъ вашъ скорый, восхитительный пріѣздъ.

Вѣроятно именно сейчасъ я люблю осторожно и трезво, какъ полагается, какъ надо любить, какъ пожалуй и вы меня любили, безъ непрерывной одержимости, напротивъ — то странно о васъ забывая, то безболезненно къ вамъ возвращаясь. Правда, я не окончательно похожъ на совершенныхъ, примѣрныхъ любовниковъ, не теряющихъ склонности и вкуса къ удовольствіямъ, обществу, книгамъ и дѣламъ, ко всему, что мнѣ кажется лишнимъ — возмущая, отталкивая, нервирова — если вы рядомъ или можете придти, что мнѣ чуждо порой и въ одиночествѣ: даже въ эти спокойные дни я не ищу разумныхъ отвлеченій и завистливо думаю о прошломъ, когда — опираясь только на васъ, не видя окружающаго міра, не пробуя въ немъ утвердиться, обрекая себя на двойное пораженіе (любовное и денежно-практическое) — я жилъ добровольно принятой жизнью, неоспоримо достойной и подлинной, а не мечтами о нашемъ пріѣздѣ. Еще одна короткая формула, сочиненная мной среди прочихъ, меня какъ-то сразу прельстила — подражаніе Декартовскимъ словамъ, почти буквальное: «*amo ergo sum*». Я знаю, что вышло претенціозно и неловко, но эти слова передаютъ все душевное мое со-

держаніе и весь поэтический опыт: для меня человекъ опредѣляется, возникаетъ и крѣпнѣтъ въ любви, и до нея меня самого попросту не было и быть не могло. Мнѣ забавно и несносно перечитывать свои же собственные ранніе дневники (мною по писательски бережно хранившіеся, въ минуты опасности и въ годы нищеты): ихъ аккуратныя, холодныя страницы, экзальтированно-заемныя порывы, смѣшная, напыщенная ихъ добродѣтель, присущая многимъ тогдашнимъ моимъ сверстникамъ, все это изрѣдка смягчается, темнѣетъ, чуть въ отдаленіи мерещится любовь — не такъ ли точно будущихъ военныхъ (кандидатовъ въ инвалиды и въ маршалы) плѣняютъ съ дѣтства походы и чины. Въ самонадѣянномъ своемъ фанатизмѣ я эту вѣру готовъ предпочесть ледному Декартовскому «*cogito*»: нашу тайну, основу, судьбу, по моему, нельзя объяснить вторичной, сомнительной способностью — мыслить — къ тому же усвоенной нами извнѣ, мы какъ то рѣче, естественнѣе, глубже, и другъ отъ друга и отъ всѣхъ отдѣлены столь разнородными своими страстями и неизбѣжной ихъ «сублимаціей», возвышающей каждого влюбленнаго надъ житейскими успѣхами и смертью. Я добросовѣстно пытаюсь понять животворящую природу любви и, потрясенный, внезапно открываю, что любовь не одержимость, не болѣзнь, что она — благодать, или Божій подарокъ, или небо, сошедшее на землю, или сила, насъ чудомъ вознесшая на почти недоступныя высоты. И въ теперешнемъ любовномъ паденіи, въ моихъ упрекахъ и въ памяти о счастьи какъ бы присутствуетъ отблескъ и тѣнь благодати, источникъ той «жизненной полноты», которая должна преодолѣть повседневную вялую скуку, и я непрестанно вамъ признателенъ за вашъ особый, таинственный даръ (на васъ самой, увы, не отразившійся) — однажды во мнѣ пробудивъ, безконечно поддерживать любовь.

Не добившись отвѣтнаго чувства, я сознательно и стойко выбираю «прозябаніе» около васъ и не пойду на иллюзорныя уступки, вродѣ вашего «мѣсяца въ деревнѣ», и на реальную впоследствии расплату. Мои фантазіи беспочвенно-блѣдны, однако чище и жертвеннѣе вашихъ, и перѣдко подобные вымыслы показательнѣе всѣхъ осуществленій, такъ-что не стыдно о нихъ говорить: я представляю себѣ необъятныя средства, почему-то у насъ появившіяся, нашу скромную, ровную жизнь, безъ нелѣпо-тщеславныхъ потребностей, съ дѣловитой помощью людямъ — и толковой, и умной, и душевной — съ излученіемъ заботливо-нѣжной доброты.

У меня наготовѣ безчисленные планы и множество мельчайшихъ подробностей: иногда увлекаясь я вижу — среди совмѣстной нашей работы — ваше нахмуренно-строгое лицо, негодующіе, сипіе, печальные глаза, и затѣмъ, какъ бы очнувшись отъ сна, съ недоумѣніемъ, съ тоской перехожу къ бездѣйствію и вынужденной лѣни. Лишь теперь мнѣ отчетливо-ясно, какой упрямой ненасытной добротой полна «эгонистическая» любовь къ одному, какъ постепенно она превращается въ осязательно-братскую, живую любовь ко всѣмъ и счастливымъ, и несчастнымъ, съ нами связаннымъ хотя бы мимолетно — на другихъ не хватаетъ воображенія — и какъ мертва «любовь къ человѣчеству». Въ этой бѣдности нашего вниманія есть что-то для насъ и унижительное: мы должны отказаться отъ цѣлаго для сохраненія крохотной части, мы ограничены жалкимъ своимъ кругозоромъ, и всякая наша попытка черезъ конкретное прорваться въ отвлеченное насъ приводитъ къ искусственнымъ вѣрованіямъ, непонятнымъ или дурно понимаемымъ — оттого, наперекоръ ихъ творцамъ, такъ нетерпимы ихъ распространители (они защищаютъ собственную вѣру, словно боятся ее потерять) и оттого мнѣ враждебны большевики. И когда за чужія, непонятныя схемы умираютъ герои и праведники, я убѣждаюсь въ ихъ непроницаемости, въ ихъ безлюбивой внутренней природѣ, и мое возмущеніе падаетъ: вѣдь нельзя возмущаться слѣпыми, и у каждого своя слѣпота, неодаренность въ чемъ-либо важномъ, участіе въ общемъ неравенствѣ. Тогда я бунтую не противъ людей, а противъ этой у нихъ неодаренности и этого именно свойства — безъ колебаній экзальтированно знать, что выше и лучше всего, къѣмъ надо гордиться, кому подчиняться, кого неуклонно ставить въ примѣръ, какъ жить по такому примѣру — самодовольно, жестоко и спокойно. Я ненавижу любое самодовольство — государственное, личное, семейное, за полкъ, за дѣла, за друзей и жену — и мнѣ изъ всѣхъ особенно знакомо и наиболѣе мнѣ отвратительно старинное русское наше самохвальство, однако меня раздражаетъ и обратная вѣчная крайность — расхлябанно-темное наше пораженчество. Я повиненъ въ одномъ и другомъ, поддаюсь патріотическимъ сенсаціямъ и слезливому русскому раскаянію и безжалостно съ этимъ борюсь: для меня основное наше достоинство — въ широтѣ, проникновеніи и зрѣлости, не мелко-партіино-служебной (чтобы врага изучить и уничтожить), но прощающей, сердечной и признательной. Боюсь показаться елейнымъ и прѣс-

нымъ — я къ этимъ скуднымъ и радостнымъ выводамъ пришелъ отъ «любвонной любви» (презрительно многими забытой, инымъ какъ будто неизвѣстной, меня же пронзившей навсегда) и своей «вѣры въ любовь» не сочинялъ. Неожиданно также я вспомнилъ, какъ однажды Петрикъ заявилъ, что мы большевиковъ не переспоримъ, ничего не имѣя за душой, и какъ безпомощно я растерялся — сейчасъ у меня приготовленъ обычно-поздній побѣдительный отвѣтъ о нашемъ добромъ и высокомъ назначеніи, котораго мы не выполняемъ: мнѣ стало яснѣе, чѣмъ прежде, какое лицемѣріе «тамъ», сколько завѣдомо-фальшивыхъ утѣшеній, и какая «здѣсь» могла бы создаться благожелательная искренность во всемъ, безутѣшная, суровая, но мужественная, никого не вводящая въ обманъ. Разумѣется, правдивая эта безутѣшность не отъ безволія, бездушія и слабости и за собою ихъ не влечетъ, намъ слѣдуетъ ее воспринимать не буквально, а сложнѣе, обобщеннѣе, глубже — что міра и судьбы не измѣнить, однако въ предѣлахъ знакомства и дружбы, доступныхъ вліянію cadaго, можно сравнительно многоаго достичь: необходимо только стараться, проникнуться надеждой и упорствомъ — и около насъ образуется какъ бы тайный мистическій кругъ изъ людей, облагороженныхъ нами, перенявшихъ заманчиво-трудное умѣніе опираться на собственный опытъ и бережно его сохранять для тѣхъ, кого онъ затронетъ, кому онъ дѣйствительно нуженъ. И пущенные съ разныхъ концовъ, такіе «спасательные круги» должны разростись, соприкоснуться, сливаясь не въ мертвый формальный союзъ, но въ огромное осмысленное цѣлое, освобожденное отъ алчности и грубости, отъ губельныхъ страстей и потрясеній (впрочемъ это ужъ слишкомъ «фантазія»). Теперь я начинаю созавать, какъ отношусь къ писателю, художнику и всякому иному творцу: онъ не призванъ ни властвовать надъ міромъ, ни гордо отъ него отрекаться, онъ что-то улучшаетъ въ себѣ и что-то исправляетъ въ окружающихъ и къ участію въ общей работѣ его приводятъ и жалость, и любовь, и напряженная работа надъ собой. У меня это связано съ вами, и я все болѣе вамъ благодаренъ за чудесное свое пробужденіе, за первый, столь давній толчекъ, я по старому его ощущаю и такъ безопасно, такъ просто люблю (безъ новаго, гнетущаго страха), что поневолѣ съ увѣренностью жду успокоительной вашей улыбки, далекой, но прочной вашей отвѣтности, словно время намъ какъ-то вернуло помолодѣвшую, прежнюю нашу любовь.

Ю. ФЕЛЬЗЕНЪ

Есть нѣчто нестерпимо претенціозное въ формѣ «мыслей» и афоризмовъ. Вотъ, молъ, и у него, оказывается, водятся мысли. Но самое нестерпимое въ подобныхъ записяхъ — ихъ предполагаемая общеобязательность.

Эти замѣтки ни на какую обязательность не претендуютъ. Онѣ возникли изъ личнаго моего опыта, изъ живыхъ человѣческихъ отношеній, изъ собственныхъ моихъ переживаній и размышленій. Частично родились онѣ и какъ откликъ на чужія высказыванія, услышанныя или прочитанныя мною — но лишь на тѣ изъ нихъ, которыя сами вошли въ мою жизнь, дополняя или провѣряя мой душевный опытъ, естественно — несовершенный и ограниченный.

Если я все же постралясь очистить эти записи отъ слишкомъ личныхъ упоминаній, то потому, что убѣдительность «документализма» мнѣ представляется сомнительной — какъ въ отношеніи самого себя, поскольку моя цѣль не въ ложномъ возстановленіи отдѣльныхъ событій моей жизни, а въ попыткѣ понять дѣйствительный смыслъ ихъ; такъ и въ отношеніи другихъ, которые, можетъ быть найдутъ въ нѣкоторыхъ моихъ замѣчаніяхъ извѣстное соотвѣтствіе со своими переживаніями, конечно, отличными отъ моихъ въ плоскости біографической, но — хочется вѣрить — соприкасающимися съ ними кое въ чемъ по существу.

Стоить ли писать о любви? Вѣдь о ней уже давно все сказано. Но прежде всего, надо доказать, въ такомъ случаѣ, что любовь — нѣчто неизмѣнное на протяженіи вѣковъ. В. говорилъ на собраніи — подъ смѣхъ слушателей — что гамма любовныхъ ощущеній въ наши дни расширилась. Мнѣ это отнюдь не показалось смѣшнымъ. Можетъ быть, впрочемъ, кое какія ноты, извѣстныя въ старину, нынѣ утеряны — зато несомнѣнно прибавились новыя. Любовь мѣняется, ибо мѣняется сознаніе и духовное содержаніе человѣка. Безсмысленно говорить о «прогрессѣ» въ интеллигентскомъ толкованіи этого слова, но душевная эволюція все же куда-то ведетъ. Средневѣковый человѣкъ любилъ не такъ, какъ древній эллинъ, гуманистъ — не такъ, какъ средневѣковый человѣкъ, романтикъ иначе, чѣмъ гуманистъ. И наша любовь, конечно, не вполне похожа

на любовь героевъ Тургенева и даже Толстого, или хотя бы на любовь непосредственно предшествовавшихъ намъ поколѣній. Гораздо таинственнѣе то, что, несмотря на всѣ различія, любовь всегда остается все той же любовью.

Но и объ этой вѣчной ея сути говорить позволено всѣмъ — и каждый можетъ добавить что-то новое. Кто изъ мудрѣйшихъ можетъ похвастаться тѣмъ, что позналъ любовь до конца? Всякій любящій начинаетъ все сначала и открываетъ въ ней немало инос. Самый невнимательный и нескушенный можетъ почувствовать и замѣтить то, что ускользнуло отъ глубочайшаго философа, отъ проникновеннѣйшаго поэта, отъ опытнѣйшаго искателя.

* * *

Любовь — не отвлеченное понятіе, а живая реальность. Понятіе любви выдуманно людьми для обобщенія, для удобства; въ природѣ оно не встрѣчается. Любовь — всегда личное переживаніе, обращенное на другую личность. Теоретическая любовь ко всѣмъ существуетъ лишь на бумагѣ. Въ жизни можетъ быть только любовь къ каждому.

Нѣкоторые люди любятъ повторять, что не вѣрятъ въ любовь. Для меня это звучитъ такъ же, какъ если бы они заявили, что не вѣрятъ въ воздухъ, которымъ дышать. Ахматовскія строчки «И придумалъ какой то бездѣльникъ, Что бываетъ любовь на землѣ» — не больше, чѣмъ раздраженная реакція утомленнаго психологизмомъ сознанія. Если бы Ахматова усомнилась въ существованіи любви на самомъ дѣлѣ, то не написала бы объ этомъ стиховъ.

Вѣрнѣе было бы сказать, что многіе не замѣчаютъ любви, не сознаютъ ея. Но и воздухъ большинство людей не замѣчаютъ.

* * *

Трудно представить себѣ человека, въ жизни котораго любовь не занимала бы, если не главнаго, то хотя бы большого мѣста. Любовь можетъ, впрочемъ, не воплотиться въ дѣйствительность, но тогда мѣсто ея измѣряется ея отсутствіемъ, мечтой о ней, органическимъ желаніемъ заполнить пустоту. Только у огромнаго большинства вся сфера любовныхъ ощущеній находится внѣ поля сознанія. Рильке въ «Письмахъ къ

молодому поэту» говорить, что почти всѣ любятъ безсознательно и что осознаніе отношеній между любящими — первая задача поэта и первый шагъ къ преobraженію міра. Но даже въ обычныхъ своихъ проявленіяхъ любовь что-то мѣняетъ въ жизни, сама что-то дѣлаетъ за насъ. Отъ насъ зависитъ помочь ей или поставить ей препятствія.

Мнѣ могутъ возразить, что существуютъ люди безлюбые по своей природѣ, «а-эротическіе», къ любви вообще не стремящіеся. Они лишены самой любовной стихіи. Но и въ данномъ случаѣ она играетъ въ ихъ жизни роль первостепенную своимъ своимъ отсутствіемъ, входитъ въ ткань ихъ существованія, какъ нѣкоторыя математическія величины — «черомѣнивь знакъ».

* * *

Всякая любовь основана на эросѣ. Я люблю родныхъ, друга — это значитъ, что я къ нимъ притягиваюсь, какъ предметъ, падающій на землю, какъ міровыя свѣтила, движенія которыхъ гармонизированы ихъ взаимнымъ тяготѣніемъ. Законъ всемірнаго притяженія и есть законъ эроса. Безъ эроса любовь становится филантропией, изъ чувства превращается въ мертвый принципъ.

Ошибочно приравнивать эросъ къ половому влеченію. И все же, полъ — вѣрнѣйшій путь для воплощенія эроса въ міръ, ибо онъ даетъ единственную возможность физическаго сочетанія противоположностей. Можетъ быть, самый большой грѣхъ, величайшее заблужденіе однополой любви въ стремленіи сохранить эту возможность въ обходъ полового различія, въ желаніи перевести теченіе эроса съ главнаго русла на боковое, въ подмѣнѣ того, что сказывается въ сочетаніи, одной лишь схемой сочетанія.

Эросъ — начало не плотское, а духовное. Любовь мужчины и женщины — наибольшее воплощеніе эроса на землѣ, этимъ самымъ — наиболѣе духовное изъ человѣческихъ отношеній. Даже самая заблудившаяся, самая тѣлесная любовь — если она остается любовью, конечно.

* * *

Любовь всегда таинственна, ибо въ нее входитъ элементъ высшей духовности. Отсюда одновременно ея

сложность и простота. «Любовь гораздо больше любви, — пишет Жак Шардоннъ въ замѣчательной по своему книгѣ, носящей это названіе. — Какъ разобраться въ столь простомъ чувствѣ? Въ него всегда входитъ что-то другое, душа вслѣдъ за чувственностью, время, боль...»

Сколько бы намъ ни говорили о любви, какъ о чисто физическомъ влеченіи, пускай «сублимированнымъ», въ насъ всегда будетъ жить представленіе о ней, какъ о чемъ то гораздо большемъ. «Но есть прямое благо — сочетанье двухъ душъ...» Пушкинскій стихъ разрушаетъ всѣ скептическія теоріи своей неопровержимой правдой.

* * *

Духовность — не идеализмъ, она нѣчто прямому противоположное. Идеалисты дружатъ съ психологіей, метафизика имъ ненавистна своей реальностью. Духовность не отрицаетъ тѣлесности. Духовное начало въ любви не отмѣняетъ физическаго влеченія, а воодушевляетъ — или даже просто: одушевляетъ — его. Любовь не можетъ не требовать плотскаго завершенія.

Обмолвка безумнаго Гельдерлина, которому показали бюстъ Платона: «Ахъ, это тотъ, кто выдумалъ эту глупую любовь». Платоническая любовь — досужая выдумка.

Любовь можетъ не воплотиться въ силу обстоятельствъ, но не можетъ не желать воплощенія. Развѣ можно назвать платонической любовь Абелара и Элоизы, послѣ насильственной кастраціи перваго, насильственнаго постриженія второй? Данте не провелъ съ Беатриче ни одной ночи — развѣ его любовь отъ этого стала платонической?

Поскольку любовь подлинно духовна, она и подлинно тѣлесна. «Лишь томленья вовсе недостойной, вовсе платонической любви». Гумилевъ написалъ эти строки не изъ донъ-жуанскаго молодчества и не для того только, чтобы кого-то въ чемъ то уговорить.

* * *

Всякое подлинное тѣлесное притяженіе — всегда духовно. Въ этомъ правда не только любви, но и самаго

незначительнаго увлеченія, если оно подлинно, т. е. не продиктовано любопытствомъ, привычкой или извращеніемъ. Моральный критерій пуританизма — всяческаго — въ эротической области не примѣнимъ. Дѣйственность — дѣло не морали, а метафизики. Вѣрность — также.

* * *

Элементъ душевный, какъ его часто называютъ — психологическій, играетъ въ любви огромную роль. Можетъ быть именно онъ связываетъ первичный духовный моментъ съ физическимъ завершеніемъ или его жаждой (хотя для меня это не очевидно). Но «сочетанье двухъ душъ» перерастаетъ «душевность» — и ни въ какомъ планѣ не можетъ ею ограничиться. Человѣкъ, остающійся въ «душевности», убиваетъ любовь. Уже лучше оставаться въ чувственности — изъ нея больше возможностей прорыва.

«Душевность» въ этомъ смыслѣ обычно совпадаетъ съ «платонизмомъ». Платонизмъ оправдываетъ «душевность» чистотой, а «душевность» платонизмъ — глубиной. Но и чистота и глубина эти мнимыя. Люди, сознательно не допускающія любовь до завершенія, также ее убиваютъ или искажаютъ.

Удивительно, что чаще всего о «чистотѣ душевной» заботятся женщины, самое тѣло которыхъ всецѣло устроено въ расчетѣ на завершеніе, непрестанно о немъ напоминаетъ. «Для чего тебѣ мое тѣло, разъ душа моя и такъ принадлежитъ тебѣ». Подобныя фразы большей частью основаны, конечно, на ложномъ инстинктѣ самосохраненія, на неосознанной боязни неправильнаго шага, на страхѣ не отличить любовь отъ ея суррогатовъ, наконецъ, просто на нерѣшительности.

Трудно въ такомъ случаѣ упрекать любящую женщину, безсознательно мѣшающую развитію любви: ее можно даже пожалѣть. Все же, о чистотѣ лучше не говорить и при этихъ условіяхъ — едва ли тайныя желанія такой женщины особенно цѣломудренны. Но сознательный отказъ отъ тѣлесности во имя душевной сложности — поистинѣ ужасенъ и ужъ, во всякомъ случаѣ, далекъ отъ чистоты: что только не сплетается въ перегруженныхъ тайникахъ такой любви.

Впрочемъ, и «душевность», не противорѣчащая физической любви, нерѣдко бываетъ столь же ужасающей, ибо психологическія колебанія легко вытѣсняютъ живыя движенія любви, становятся ложными и

лживыми. Къ сожалѣнію, именно такой «психологизмъ» часто считается исключительнымъ доказательствомъ глубины и подлинности любви. Немалую роль въ этомъ сыграла — увы! — дурно понятая литература. Сколько женщинъ, особенно дѣвушекъ, но сколько и мужчинъ, стараются любить «подъ героевъ Достоевскаго», «подъ Пруста». Они въ этомъ никому никогда не признаются, даже самимъ себѣ, ибо имъ кажется, что отказавшись отъ своей «сложности», они потеряютъ свою личность — тогда какъ на самомъ дѣлѣ только тогда обрѣли бы ее. Но въ глубинѣ они все же прекрасно отдають себѣ въ этомъ отчетъ. Не въ этомъ ли одна изъ причинъ возмущенія монтерлановскими «Дѣвушками»?

* * *

Безсмысленно разбивать любовь на части. Духовность въ ней пронизываетъ душевное и физическое влеченіе. Моментъ плотскаго сочетанія любящихъ до конца духовенъ.

Физическій актъ, конечно, не исчерпываетъ любовныхъ отношеній — нужно ли объ этомъ говорить? Въ развитіи любви самое тѣлесное влеченіе иногда какъ бы исчезаетъ. Но и тогда актъ сочетанія остается въ центрѣ любви: безъ его незримаго продолженія или предчувствія изъ любви былъ бы вынутъ стержень.

* * *

Физическая сторона любви не имѣетъ цѣлью дѣторожденіе, которое лишь одно изъ ея проявленій. Но проявленіе исключительное по своей духовной значительности. Безъ дѣторожденія любовь большей частью остается неполной.

Тѣлесное сочетаніе въ чемъ-то стираетъ грани плоти: «Да будутъ два въ плоть едину». Но въ ребенкѣ любовь сама принимаетъ обликъ плоти. Любовь становится существомъ, человѣкомъ. Если бы всѣ браки совершались по любви, всѣ люди были бы въ буквальномъ смыслѣ слова воплощенной любовью.

* * *

Любовь — непрерывная цѣпь чудесъ, большей частью не замѣчаемыхъ (какъ, впрочемъ, и вся жизнь — цѣпь такихъ же чудесъ, замѣчаемыхъ еще меньше).

Само возникновение любви — чудо, отвѣтное чувство — чудо почти немислимое (и вмѣстѣ съ тѣмъ, столь законное, что мы его невольно требуемъ), физическое сочетаніе — тоже чудо, и чудо — рожденіе человѣка.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, любовь — до конца естественна. Почему чудеса приняты разсматривать, какъ нарушение законовъ природы? Люди, не вѣрящіе въ чудеса, въ сущности, не вѣрятъ природѣ.

* * *

Въ любви есть неизсякаемый источникъ лиризма. Вѣроятно поэтому любовь всегда была основной темой поэзіи. Тема смерти не можетъ съ ней соперничать. Несмотря на Баратынского, на символистовъ, она остается второй темой, продолжающей и дополняющей первую. Въ стихахъ любовь всегда сильнѣе смерти.

Любовь — не только тема поэзіи, но и ея источникъ. Рильке совѣтуетъ молодымъ поэтамъ не писать о любви. Поэтъ, конечно, не обязанъ писать о ней. У самыхъ любовно одаренныхъ поэтовъ имѣются стихи «безлюбые» — и порою не менѣе значительные. Но каковы бы ни были непосредственные источники стиховъ, любовь остается скрытымъ ихъ двигателемъ. Лично я просто не сталъ бы «заниматься поэзіей», если бы никогда не любилъ.

Все это совѣмъ не противорѣчитъ понятію о религиозныхъ истокахъ поэзіи. Скорѣе, наоборотъ — наиболѣе убѣдительно подкрѣпляетъ его.

* * *

Любовь не опредѣляется поисками личнаго счастья. Раздѣленная любовь можетъ не быть счастливой. Счастье къ любви прикладывается, когда перестаетъ быть прямой цѣлью.

Любовь не въ правѣ обходить страданія. Раздѣленная любовь не менѣе мучительна, чѣмъ любовь нераздѣленная. Она требуетъ столь же непрерывнаго напряженія, можетъ быть большаго. Но мученія и напряженность приобрѣтають иной смыслъ. Любовь не измѣряется силой страданія. Скорѣе ужъ — силою сопротивленія ему.

* * *

Благодать не падаетъ съ неба зря. Чудо совершает-

ся тогда, когда что-то подготовлено для его совершенія. Любовь — благодать, но она и награда: можетъ быть — незаслуженная.

Любовь накладываетъ обязательства. Она дана, но она и задана. Любовь — чудо, но она и сознательный выборъ, отвѣтственное дѣло. «Любовь была большимъ дѣломъ моей жизни» — честно утверждаетъ Шардоннъ. Любовь не можетъ существовать между прочимъ — ей надо посвятить жизнь.

Корнелевская фраза: «L'amour n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir». звучитъ неубѣдительно. Между тѣмъ, къ любви въ извѣстные періоды исторіи отнѣсились, какъ къ развлеченію, лучшие люди. Можетъ быть, въ отношеніи къ любви, какъ къ дѣлу — наиболѣе очевидный признакъ эволюціи любви во времени, «расширенія гаммы любовныхъ ощущеній».

Еще разъ Шардоннъ: «Извѣстное представленіе о любви — доказательство развитой культуры, такъ же, какъ чувство чести и художественная проза». Шардоннъ чего-то не учелъ: развитіе культуры здѣсь не совсѣмъ къ мѣсту, а художественная проза и подавно. Духовные процессы въ человѣчествѣ идутъ иногда совсѣмъ другими путями.

Я ее любилъ долго и мучительно. Моя страсть заполняла меня цѣликомъ, отвлекла отъ другихъ моихъ интересовъ, отъ друзей: никогда я не былъ такъ далекъ отъ нихъ, какъ въ этотъ страшный періодъ. Но моя одержимость, исключительность моего стремленія, не уничтожила во мнѣ сознанія законности и необходимости всего, что я забросилъ.

Встрѣча съ Т. невольно смутила меня: въ нашемъ представленіи другіе всегда должны примѣнять къ намъ корнелевскую формулу. «L'amour n'est qu'un plaisir»... «Что онъ дѣлаетъ?» — спросили про Обломова знакомые Ольги. — «Какъ, что я дѣлаю? Я люблю Ольгу». Обломовъ только про себя подумалъ это. Если бы онъ сказалъ эти слова вслухъ, его никто не понялъ бы. Я боялся вопроса Т. и самъ забѣжалъ впередъ, каюсь въ своемъ бездѣйствіи. Но Т. неожиданно прервалъ меня: «Я привыкъ разсматривать любовь, какъ видъ духовнаго творчества».

Духовное творчество не обязательно совпадаетъ съ культурой. Дѣлалъ ли Обломовъ культурное дѣло, любя Ольгу? Духовно онъ безъ сомнѣнія производилъ огромную работу.



Что значить духовная работа въ любви? Рильке, вѣроятно, думалъ объ этомъ, когда писалъ о необходимости сознательнаго отношенія между любящими, сознательнаго отношенія любящихъ къ любви. Но эта сознательность не означаетъ рациональнаго подхода, она можетъ быть вполне эмоциональной. Это трудно объяснить словами, но всякій любившій въ нѣкоторые моменты понималъ бы меня безъ словъ.

Любовь всегда направлена сквозь свой непосредственный объектъ куда-то дальше, что не уничтожаетъ исключительности самого объекта, всепоглощенности имъ любящаго. Только когда въ любовь входитъ элементъ неизвѣстности, любящій узнать подлинную личность любимаго. Когда же онъ нарочито старается постичь сущность этой личности, въ его рукахъ остается либо пустая оболочка, либо отвлеченная схема.

Любовь — непрестанный и неблагодарный трудъ. Ее надо направлять непрерывно. Малѣйшая оплошность, ослабленіе или ненужный нажимъ на педаль, можетъ въ одну ночь разрушить все, что достигнуто за нѣсколько лѣтъ. Но и здѣсь надо избѣгать нарочитости: иногда надо отдаться несущему тебя потоку, иногда задержать его теченіе. Это — дѣло, прежде всего, душевной чуткости и честности.



Любовь требуетъ извѣстной длительности, жизненнаго искуса. Только время въ любви — нѣсколько иное, чѣмъ въ другихъ жизненныхъ проявленіяхъ. Любящіе могутъ быть знакомы недавно, а любовь ихъ уже прошла долгую исторію.

Важны этапы самой любви. Самые ослѣпительные случаи мгновеннаго «узнаванія» все же подчинены этому закону. Первоначальная ихъ ослѣпительность — не всегда подлинна. «Только утро любви хорошо»: я съ этимъ совершенно несогласенъ. Начало любви рѣдко бываетъ полнымъ и чистымъ. Состояніе влюбленности, жениховства, перваго сближенія содержитъ въ себѣ много смутнаго. Лишь постепенно любовь пріобрѣтаетъ ровный и яркій свѣтъ и лучи ея становятся все болѣе «радіоактивными».

Любовь нащупываетъ свое русло и не сразу его находитъ. Неизбѣжность такого нащупыванія не означаетъ ни въ какой мѣрѣ ошибочности выбора.



Любовь не открывается вся сразу, а понемногу распускается, лепестокъ за лепесткомъ. Иногда это происходит незамѣтно, иногда рѣзкими толчками. На утро я не всегда узнаю свою вчерашнюю любовь: за ночь она пустила новые корни, новые ростки.

Длющаяся, многолѣтняя любовь — не статическое состояніе и не «повтореніе пройденнаго», а движеніе впередъ. Англійскій поэтъ Ковентри Патморъ писалъ своей женѣ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы: «Когда желаніе души подлинно, другое желаніе вытекаетъ изъ него и символизируетъ духовное стремленіе. Вотъ почему каждая годовщина нашего соединенія больше, чѣмъ простое повтореніе этого дня. Женихъ и невеста остались въ мужѣ и женѣ; свѣжесть и тайна брака увеличиваются съ каждымъ годомъ, питаюсь любовью и радостью прожитыхъ мѣсяцевъ. Чувство, что я не заслужилъ этого счастья, не только не уменьшаетъ его, но, наоборотъ, еще обогащаетъ».



Полное раскрытіе любви возможно только въ длительно́мъ сожителѣствѣ, т. е. въ бракѣ. Тайнство брака — внѣ его религіознаго смысла — предрасполагаетъ къ любовному завершенію, къ любовной полнотѣ. Но только долгіе годы любовнаго сотрудничества дѣйствительно создаютъ эту полноту.

Понятіе о любовной длительности — одно изъ существеннѣйшихъ измѣненій сознанія любовниковъ. Шардоннъ правильно отмѣчаетъ, что въ прошломъ вѣкѣ любовь воспринималась исключительно внѣ брака — за рѣдчайшими исключеніями. Бракъ былъ функцией соціальной, а любовь искала другихъ формъ. Всѣ любовные романы описывали «адиюльтеръ». «Что общаго между бракомъ и любовью?» — повторяли романисты вопросъ мольеровскаго Журдена.

Двадцатый вѣкъ укрѣпилъ брачную любовь. Уважающая себя женщина въ наши дни съ трудомъ мирится съ положеніемъ любовницы, пускай романтической. Бракъ даетъ гарантію длительности и прочности не только передъ лицомъ закона или общества, но и передъ лицомъ самой любви.



Въ бракѣ есть соціальная сторона, такъ жестоко

осмѣянная Монтерланомъ. Увы, Монтерланъ правъ: социальность въ супружествѣ существуетъ, а что можетъ быть ужаснѣе семьи, какъ «общественной клѣтки». Но Монтерланъ забываетъ о любви, которая преобразуетъ общественность личной незамѣнимостью. Любовь властно требуетъ брака и освящаетъ его. «Можно себя представить, — пишетъ Шардоннъ, — общество, не похожее на наше, но и въ немъ будетъ существовать семья. Этого хочетъ любовь, которой нужна длительность».

Таинство брака переводитъ соединеніе любящихъ изъ плоскости социальной въ предѣльно личную. Мэръ сочтаетъ влюбленныхъ для общественнаго дѣла, священникъ — для религіознаго, т. е. наиболѣе личнаго изъ всѣхъ существующихъ.

* * *

Нѣкоторые люди непреодолимо боятся брака. Герой Монтерлана называетъ его именемъ міфическаго чудовища, гиппогрифа. Эта боязнь, по моему основана на лжеромантическомъ представленіи о полной перемѣнѣ человѣка, вступившаго въ бракъ. А. усиленно попытывался у меня — въ чемъ я измѣнился послѣ свадьбы? Многіе съ удивленіемъ замѣчаютъ черезъ нѣсколько лѣтъ любовнаго сожителства, что въ сущности остались тѣми же.

Есть особая — и немалая — категорія «женатыхъ холостяковъ». Къ ней, въ частности, принадлежать едва ли не всѣ творческіе люди, что не мѣшаетъ имъ порою воспринимать бракъ, какъ окончательное и естественное состояніе, точно они всегда были женаты.

Любовь не мѣняетъ личности, а помогаетъ ей раскрыться, стать до конца собою. Мнѣ совершенно непонятно столь распространенное опасеніе потери самого себя, своей свободы, послѣ женитьбы. Оно кажется мнѣ признаніемъ въ слабости или ничтожествѣ собственнаго «я». Странно, что оно возникаетъ порою у людей сильныхъ, съ ярко выраженной индивидуальностью. Но о какой свободѣ они заботятся?

* * *

Тѣ, кто думаютъ, что любовь избавляетъ человѣка отъ одиночества, жестоко ошибаются. Человѣкъ рождается одинокимъ. Любовь — проникновенное сотрудничество двухъ одиночествъ. Въ этомъ — залогъ ея

вышей правды.

Приключеніе, — если оно подлинно — требует не меньшаго творческаго напряженія, чѣмъ иная работа. Только напряженіе это не всегда замѣтно во время «авантюры». Изъ небольшого путешествія человѣкъ возвращается разбитымъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Что съ нимъ случилось? Ничего — или почти ничего.

* * *

Юноша, отказывающійся отъ приключеній во имя ожидаемой «большой любви», обычно совершаетъ ошибку. Онъ упускаетъ возможности «прорыва», приобщенія къ любовной стихіи. Кромѣ того, онъ ограничиваетъ свой выборъ и легко можетъ поддаться заблужденію. Иногда онъ остается жертвой такого заблужденія на всю жизнь, даже не подозревая, что въ ней не все ладно.

Романтическая «большая любовь» — явленіе опасное. Она чаще опустошаетъ, чѣмъ обогащаетъ. Вокругъ нея созданъ нѣкій миражъ, прельстительный и обманчивый, какъ всѣ миражи. «Большая любовь» — не всегда самая напряженная духовно. Что же касается шансовъ стать единой любовью — ихъ у нея не больше, чѣмъ у любой другой.

* * *

Чеховъ объяснялъ художественные недостатки Короленка тѣмъ, что онъ никогда не измѣнялъ женѣ. Подходъ, въ основѣ своей, не болѣе парадоксальный, чѣмъ обычныя моральныя условности. Вѣрность не можетъ быть слѣдствіемъ принципа. Она рождается (или не рождается) самой жизнью.

Но и обратная условность остается условностью. Сколько людей измѣняютъ своей женѣ изъ принципа!

* * *

Любовь безжалостна. Она не выноситъ лжи, а правда не всегда «человѣчна». Правда въ любовныхъ отношеніяхъ причиняетъ самыя болѣзненные мученія. Но мученія предпочтительнѣе сознательнаго отклоненія въ ложь.

Если любовное чувство остается безотвѣтнымъ — это ужасно. Но когда нераздѣленность прикидывается раздѣленностью — это еще ужаснѣе. Средніе выходы, компромиссы, вродѣ предложенія дружбы — совсѣмъ никуда не ведутъ.

Собственныя страданія куда легче принять, чѣмъ страданія другого. Я никогда не забуду слезъ, вызванныхъ моимъ чистосердечнымъ признаніемъ въ нелюбви.

* * *

Привычка убиваетъ любовь. Но любовь исключаетъ привычку. Въ ней всегда присутствуетъ новизна и удивительность. Болѣе полное узнаваніе человѣка прямо противоположно привычкѣ, которая довольствуется внѣшними формами.

Шардоннъ увѣряетъ: *«L'amour persiste dans le mariage a condition d'être romanesque; c'est-à-dire, à condition d'incarner l'émotion première, l'étonnement que vous réserve toujours un être à votre convenance»* Онъ могъ бы сказать короче: *«A condition d'être l'amour»*

* * *

Любовь всегда нова, и каждая любовь нова по иному. Разные люди любятъ по разному. Но и тотъ же человѣкъ обозначаетъ иногда этимъ словомъ совершенно различныя чувства. Можетъ быть поэтому лучше — въ большинствѣ случаевъ — вообще не произносить его.

Можетъ ли человѣкъ любить нѣсколько разъ въ жизни? Можетъ ли онъ любить нѣсколькихъ одновременно? Это — вопросы риторическіе, достойные средневѣковыхъ «судовъ любви» или рубрики «Разбитыя сердца» — въ бульварной газетѣ. По существу же на нихъ нѣтъ отвѣта — или есть безчисленное множество отвѣтовъ. Однолюбы знаетъ одно рѣшеніе, донъ-жуанъ — другое.

Какъ совмѣстить это съ едва ли не врожденнымъ въ каждомъ изъ насъ представленіемъ о единой и единственной любви? Я думаю, что и здѣсь произошло смѣшеніе между даннымъ и заданнымъ. Человѣку дается много возможностей — ему самому предстоитъ сдѣлать выборъ между ними. Достиженіе единой любви — тоже «видъ духовнаго творчества».

* * *

Шардоннъ, ослѣпленный темой брака, вѣрнѣе — вѣчной мужеженской четы, не совсѣмъ справедливо отнесся въ своей книгѣ къ тому, что онъ называетъ «авантюрами». Въ «авантюрахъ» несомнѣнно есть ча-

стица любовной правды.

Любовное приключеніе — не любовь, но къ любовной стихіи оно причастно. Благодаря приключеніямъ въ извѣстные періоды жизни — въ частности, въ молодости — предѣлы нашихъ исканій таинственно раздвигаются. Иное кратчайшее приключеніе можетъ научить большому, чѣмъ годы упорнаго самосовершенствованія.

Бенжаменъ Констанъ пишетъ, что самая изощренная метафизика не можетъ оправдать боль, причиненную нами любящему сердцу. Но даже чужія страданія не должны насъ заставлять колебаться въ выборѣ между правдой и ложью.

* * *

Смерть любви — самое страшное, что можно себѣ представить. «Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть, и равнодушно ей внималъ я». Но смерть любви не менѣе непоправима, чѣмъ смерть человѣка.

Любовь смертна. Въ теченіе лѣтъ незримый червь подтачиваетъ ея основы — за одну ночь зданіе рушится. Люди, сошедшіеся какъ самыя близкія существа въ мірѣ, расходятся черезъ нѣсколько часовъ совершенно чужими.

О чемъ мы тогда говорили, въ чемъ упрекали другъ друга, о чемъ просили? Не въ словахъ нашихъ было дѣло. Оба мы безсильно присутствовали при агоніи. Я старался удержать въ своемъ сердцѣ умирающую любовь. Напрасно. Пока она плакала и жаловалась моему другу, я уже спалъ черствымъ сномъ вернувшагося съ кладбища.

* * *

Любовь смертна — но можетъ и не умереть. Отъ насъ зависитъ сдѣлать нашу любовь безсмертной. Я говорю не объ искусственномъ поддержаніи ея — къ нему прибѣгаютъ, когда все равно уже поздно. Нѣтъ, въ самомъ разгарѣ, въ самомъ началѣ любви мы уже должны беречь ее, помнить объ ея смертной природѣ и безсмертной цѣли, направлять ее къ безсмертію.

Человѣкъ, донесшій до своего конца живую, безсмертную, единую любовь, поистинѣ совершилъ «большое дѣло своей жизни».

* * *

Стендаль, въ бытность свою консуломъ въ Чивитта-

Векъи, предчувствуя приближеніе смерти, самъ составилъ себѣ эпитафію: «Анри Бейль. Жилъ, писалъ, любилъ». Я не знаю болѣе достойной надгробной надписи.

Юрій МАНДЕЛЬШТАМЪ

«ЛОШАДИ ЪДЯТЪ СѢНО».

ДИОН

На одномъ собраніи мнѣ случилось говорить объ евангельской абсолютной справедливости утверждающей свободу, равенство и братство всѣхъ людей и не-соизмѣримости ни съ чѣмъ цѣнности человѣческой личности. Какой то господинъ изъ публики скучающимъ голосомъ сказалъ: «Волга впадаетъ въ Каспійское море, лошади ѣдятъ сѣно». Конечно въ томъ, что я говорилъ не было ничего новаго и оригинальнаго. Я и не хотѣлъ быть оригинальнымъ. И все-таки, къ сожалѣнію, этотъ господинъ былъ не правъ. Огромному большинству людей никогда эта идея абсолютной цѣнности личности каждаго человѣка не казалась такой же неоспоримой, какъ наблюденіе, что лошади ѣдятъ сѣно. Наоборотъ, повидимому это не только не самоочевидная, но наиболѣе трудная, противоестественная, неосознаваемая истина. Правда, она является «самой вещью», жемчужиной христіанской культуры. И творчество моральныхъ реформаторовъ, и все искусство и замыслы демократіи и машинизма ею проникнуты, и она входитъ въ сознаніе каждаго «средняго человѣка нашего христіанскаго міра». Такъ еще недавно Толстой могъ писать: «правда, устройство жизни въ главныхъ чертахъ остается все такимъ же насильническимъ, какимъ оно было 1000 лѣтъ тому назадъ, и не только такимъ же, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, особенно въ приготовленіяхъ къ войнѣ и въ самыхъ войнахъ, оно представляется даже болѣе жестокимъ; но зарождающееся христіанское общественное мнѣніе, то самое, которое при извѣстной степени развитія должно измѣнить все языческое устройство жизни, уже начинаетъ дѣйствовать».

Прошло сорокъ лѣтъ. Казавшееся Толстому отживающимъ «общественное мнѣніе языческое», не только не отжило, но побѣдоносно возрождается во всемъ мірѣ. Повсюду неистребимая «ассирійская» душа человѣка съ радостью отрѣшается отъ ненавистныхъ, немыслимыхъ ею требованій евангельской справед-

ливости. Массы людей вдруг начинают чувствовать и исповѣдывать, что быть сыномъ Асура, великой имперіи, естественнѣе и лучше для человѣка, чѣмъ стремиться къ недостижимому личному существованію. Опять, какъ въ дохристіанскомъ мірѣ, своими ближними человѣкъ начинаетъ считать только людей принадлежащихъ къ одной съ нимъ общественной группѣ (къ партіи и классу въ Сов. Россіи, къ партіи и расѣ въ Германіи). Представленіе, что я и каждый человѣкъ, всѣ люди являются личными существами, призванными къ вѣчной жизни, вновь замѣняется древнимъ ощущеніемъ, что только коллективъ, будь это нація или классъ, есть единственно реальное, единственно истинно существующее бытіе, Богъ, въ томъ смыслѣ, въ какомъ были богами кланы, имперіи и племена, пока Амось, превративъ Святаго Израилева въ мірового Бога справедливости, не измѣнилъ самое понятіе Божества.

Такъ, послѣ 19 вѣковъ христіанской эры воскресаетъ и торжествуетъ древняя религія обожествленнаго общества съ ея моралью поглощенія личности коллективомъ и истребленія и порабощенія людей, принадлежащихъ къ другимъ обществамъ.

«Не можетъ этого быть — писалъ Толстой, не можетъ быть того, чтобы мы, люди нашего времени, съ нашимъ вошедшимъ уже въ нашу плоть и кровь христіанскимъ сознаніемъ достоинства человѣка, равенства людей, съ нашей потребностью мирнаго общенія и единенія народовъ, дѣйствительно жили бы такъ, чтобы всякая наша радость, всякое удобство оплачивалось бы страданіями, жизнями нашихъ братій, и чтобы мы при этомъ еще всякую минуту были бы на волоскѣ отъ того, чтобы какъ дикіе звѣри броситься другъ на друга, народъ на народъ, безжалостно истребляя труды и жизни людей...»

Не можетъ этого быть. А между тѣмъ всякій человѣкъ нашего времени видитъ, что это самое дѣлается и это самое ожидаетъ его.

Съ тѣхъ поръ какъ были написаны эти слова, положеніе стало еще мучительнѣе и страшнѣе. Образуется новая Европа на основахъ столь грубыхъ, кровавыхъ и опозоренныхъ такими преступленіями».

... Нѣтъ смысла продолжать. Нельзя повторить всего, что было уже сказано людьми чувствующими, что вся христіанская культура, все что было достигнуто вѣками борьбы за человѣческую душу, получило уже «приглашеніе на казнь».

Что дѣлать «среднему человѣку» христіанскаго міра, съ отвращеніемъ и ужасомъ чувствующему, что и онъ, завтра, или черезъ года, неизбежно будетъ вынужденъ принять участіе въ той звѣрской, кровавой, противной его сознанію, послѣдней бойнѣ, которая будетъ предшествовать побѣдѣ почти такого же совершеннаго какъ общества насѣкомыхъ, коммунистическаго или расистскаго тоталитарнаго государства, которое, отмѣнивъ Новый Завѣтъ, воздвигнется на развалинахъ Священной Европы.

Я говорю именно о среднемъ человѣкѣ, а не о героѣ—пророкѣ или святомъ. Немногимъ, конечно, будетъ дана сила претерпѣть до конца. Но страшно, что уже теперь, когда конецъ еще не наступилъ, уже заранѣе, съ торопливой готовностью забѣгая впередъ, люди, еще вчера какъ будто бы принадлежавшіе къ міру христіанской культуры, съ необыкновенной легкостью, потирая руки въ надеждѣ на мѣстечко подъ новымъ солнцемъ, переходятъ на сторону побѣждающаго «асирійскаго» міра съ его моралью, отмѣняющей, съ точки зрѣнія коммунистовъ, или «не [арійской]», точки зрѣнія гитлеровцевъ, мораль Нагорной проповѣди.

Вотъ почему, когда редація «Смотра» предложила мнѣ совершенно свободно написать о томъ, что мнѣ кажется самымъ главнымъ, я могу, несмотря на замѣчаніе что это банальное общее мѣсто, повторить только то, что говорилъ тогда на собраніи: только степенью стойкости въ исповѣданіи абсолютной евангельской справедливости, только степенью вѣрности духу человѣчности и непримиримости ко всему человѣконенавистническому, побѣждающему сейчасъ въ мірѣ, оправдается каждый изъ людей нашего времени.

ДІОНЪ

НАЧАЛО

О САМОМЪ БЛИЗКОМЪ.

...Поэтому о Богъ мой... къ тебѣ можетъ приближаться лишь тотъ кто знаетъ, что онъ не вѣдаетъ тебя.

1. *Николай Кузанскій.*

Съ такимъ отсутствіемъ порядка и ясности въ умѣ, какъ у меня, о чемъ можетъ человѣкъ судить? Да и нужно-ли, вообще, судить о чемъ-бы то ни было? Не

лучше-ли просто хватать призракъ быка за призракъ роговъ, въ надеждѣ, что послѣ смерти призраки-то и окажутся самою дѣйствительною дѣйствительностью? Вѣдь для того, чтобы судить, нужно хоть что-нибудь знать, а что я знаю, чего самъ не выдумалъ? Но... для чего писать правду, или — выражаясь высокопарно — для чего «искать истину»? Истина — точка, а во всякой точкѣ всегда есть нѣкоторая доля пошлости. Гдѣ граница между правдой и творчествомъ? Вся наша жизнь не есть-ли интеллектуальный рискъ? И человекъ — тысяча отвѣтовъ на тысячу загадокъ?

Можно, конечно, не претендуя на объективную правду, руководствоваться чувствомъ внутренней правдивости, — совѣстью, скажемъ. Но боюсь, что это чувство у меня отсутствуетъ. Вотъ, напримѣръ, я считаю себя христианиномъ, а въ то же время міровые ужасы, событія въ Испаніи или въ Китаѣ, нисколько меня не волнуютъ, — только такъ волнуютъ (совершенно точно), какъ въ дѣтствѣ чтеніе историческихъ книгъ. Пусть это неприлично и негуманно, но оттого, что въ Испаніи или въ Китаѣ война, мнѣ интереснѣе жить на свѣтѣ. Это несомнѣнно. Въ тридцать лѣтъ человекъ, въ лучшемъ случаѣ состоитъ изъ одной удачи и множества неудачъ. Неудавшійся полководецъ, живой и возможный во многихъ мальчикахъ, просыпается во мнѣ и прогуливается нѣсколько мгновеній по газетнымъ столбцамъ, какъ душа авортонъ по аллеямъ нѣкой дѣтской Вагаллы. Но я почти не вѣрю въ совѣсть и у большинства другихъ людей. Мнѣ кажется, что единственное ихъ отличие отъ меня лишь то, что въ томъ же театрѣ, гдѣ я — зритель, они — актеры. Да и вообще, не отличается-ли «жизнь» отъ «театра» только распредѣленіемъ количествъ участвующихъ людей: въ жизни — подавляющее большинство на сценѣ.

2.

Итакъ, откровенно буду «сочинять», не заботясь о нахожденіи критерія. И даже не погружаясь въ созерцаніе и расшифровываніе свего «внутренняго я». Есть такіе люди, которые на всякія предположенія умозрительнаго порядка, неизмѣнно отвѣчаютъ: откуда вы это знаете? — давая понять, что они-то ничего не «сочиняютъ», а говорятъ лишь то, что дѣйствительно *чувствуютъ*. Вотъ этотъ то критерій «чувствованія» для меня совершенно уже не пріемлемъ. Вѣдь чѣмъ болѣе

творческій умъ въ душу свою всматривается, тѣмъ больше онъ находитъ въ ней разныхъ сложныхъ вещей; потому и находитъ, что всматриваньемъ ихъ создается. Тогда интеллектуальная жизнь человѣка становится похожей на бракъ, гдѣ вся власть принадлежитъ капризной и вздорной супругѣ. «Я такъ чувствую», говоритъ вздорная супруга, а всматривающійся супругъ завороженно-покорно повторяетъ: «она такъ чувствуетъ», не подозрѣвая, что чувства эти выдуманы имъ же самимъ точно такъ же, какъ выдумываются одинокія умозрительныя построения. Думаю, что такое импрессионистическое варварство есть прежде всего признакъ отсутствія сознанія *своей* жизненной задачи, — остается одно лишь «das weiblichvergänglichliche»... Но прямо-таки забавно становится, когда декадентъ, вмѣсто того чтобы высказываться о чьихъ-нибудь стихахъ, или иныхъ красотахъ вдругъ тоже рѣшаетъ поспорить о «міровыхъ вопросахъ», такъ-сказать. Не говоря ужъ о такихъ афоризмахъ, какъ «Ромень Роллэнъ есть міровая совѣсть», или «если тебѣ надлежитъ поглощеннымъ быть львомъ или тигромъ, то ни одному изъ оныхъ авѣрей не отдавай предпочтенія», (о, безсмертный Козьма Прутковъ!) — существуетъ вѣдь цѣлая философія, основанная на «чувствѣ» и «непосредственныхъ впечатлѣннѣяхъ». Молодой человѣкъ, погружаясь въ сочиненія почтенной, университетской крысы, начинаетъ ретроспективно «чувствовать», какъ создавался міръ, какъ великая сила жизни постепенно-постепенно развиваясь, раскрываясь, расчленяясь, создала сначала протоплазму, затѣмъ таракана, обезьяну, негра, и, наконецъ, I. X.! Правда, I. X. люди казнили, но эта несчастная случайность никакъ не могла остановить прогресса, который и понынѣ благополучно продолжается. Великой силѣ жизни даже легче теперь создать иного, еще лучшаго, бога, а просвѣтившееся тѣмъ временемъ, подъ эгидой Лиги Націй, человечество не будетъ уже такимъ легкомысленнымъ и, можетъ-быть, не казнить его... Словомъ, la vie est belle — иди своей дорогой! И метафизическая галерка рукоплещетъ. Но довольно. Точка.

©

3.

Христіанская метафизика никогда не вызывала во мнѣ никакихъ сомнѣній: зато христіанская мораль мнѣ чужда и непонятна. Въ христіанской морали я

вижу два измѣренія, но не вижу третьяго, глубины. Какъ бы крестъ на авансценѣ: что за нимъ?

Благотворить нищимъ, навѣщать больныхъ, молиться за враговъ, отсѣкать соблазняющій членъ и т. д. и т. д., предполагаетъ *нужду* въ нищихъ, въ больныхъ, во врагахъ и въ соблазнахъ (въ соблазнителяхъ); *нужду* во всѣхъ тѣхъ, на шеѣ которыхъ можно вѣхаться въ рай. Но, если Евангеліе есть только этика для больного міра обидчиковъ и обиженныхъ, то оно теряетъ значеніе, какъ только возникаетъ вопросъ о смыслѣ и цѣли человѣческаго существованія вообще. Что дѣлать, когда не будетъ несчастныхъ? Молчаніе. Когда нѣтъ несчастныхъ? Молчаніе. Или нѣтъ на землѣ мѣста для неомраченного свѣта? Что дѣлать счастливымъ? Вопросъ вѣдь ставится не о душевныхъ переживаніяхъ нѣсколькихъ лѣтъ или десятковъ лѣтъ, а онтологически... Конечно, я отлично понимаю, что ставя такъ вопросъ, я дѣлаю грубую ошибку противъ метафизической концепціи христіанства, игнорируя или не признавая различія относительности и абсолюта, помѣщая ихъ въ одинъ и тотъ же порядокъ. Но какъ не понимаютъ этого тѣ, кто *наивно* принимаютъ христіанскую мораль, отвергая метафизику? И во всей своей грозной скукѣ встаетъ призракъ нѣкоего «протестантскаго» рая: всѣ сидятъ по домамъ и слушаютъ по радіо пѣснопѣнія во славу Божію, или лбызаются братскимъ лбызаніемъ, какъ квакеры какіе. Но тогда это то же, что чаянія социализма, только еще немного скучнѣе.

Гуманизмъ — морализація (эффеминизація) христіанства. «Ученье о свободѣ» а l'usage du front populaire. Оптимистическая мерзость. Когда мы смотримъ на гуманизмъ изъ христіанства, мы говоримъ: онъ христіанское дѣтище; а когда будутъ смотрѣть на него изъ царства восторжествовавшаго социализма, скажутъ: «конечно, въ немъ еще живы были ложныя (христіанскія) воззрѣнія на человѣка, но *образъ* человѣка (I. X.) уже былъ замѣненъ въ немъ *идеями* о человѣкѣ, и путь просвѣтленія — путемъ просвѣщенія. Этимъ онъ первый нанесъ христіанству сокрушительный ударъ». И будутъ покровительно-доброжелательно изучать гуманизмъ, какъ ante lucem новой эры.

Дома съ бесплатными квартирами для жильцовъ и съ зубнымъ врачомъ, покровительство животнымъ и иллюзія братства — вещи болѣе, чѣмъ почтенныя, но я, почему то, почти предпочитаю имъ палку недалекаго генерала, отнюдь не за генеральскую идеологию, а за полное отсутствіе ея у него. Народу одинаково полезно,

какъ «правое», такъ и «лѣвое»; первое воспитываетъ его эстетически, второе — этически. Но ты то о чемъ печешься? О воспитаніи пролетаріата? Бррр...

4.

Мысль о томъ, что *меня* зарюютъ въ землю овладѣваетъ на мгновеніе, какъ схватка тошноты. Отъ этого чувства легко можно избавиться разсужденіями о томъ, что «я» будетъ уже не я, и т. п.; но, сознавая *значительность* такого рода переживаній и всю выгоду, которую можно извлечь изъ нихъ для духовнаго обогащенія, я, напротивъ, всегда стараюсь продлить ихъ. Увы, напрасно. Даже и къ разсужденіямъ прибѣгать не нужно, припадки эти — всегда произвольные — сами быстро проходятъ. Удивительно.

Нѣтъ ничего болѣе достойнаго удивленія, чѣмъ способность смертныхъ жить такъ, какъ если бы они были бессмертны, какъ если бы смерть ихъ не касалась. Тогда мнѣ становится серьезно и весело. Я прислушиваюсь къ своему тѣлу, (къ своему здоровью) ко всей своей столь явно не нисходящей, а восходящей жизни. Вотъ еще несомнѣнность (какъ ихъ много оказывается, несомнѣнностей!): здоровье у меня здоровое. Неспособность реагировать на гибель есть то, что даетъ мнѣ право на мою господствующую идею. То, что *есть* моя господствующая идея, — моя удача?

Богъ бываетъ нуженъ, какъ страховка въ познаніи; или какъ награда за труды: или какъ надежда въ отчаяніи. Богъ бываетъ нуженъ, когда безъ Него трудно или невозможно обойтись: дополненіе, восполненіе, спасеніе. Но здоровьемое таково, что я могу обойтись безъ Бога. Вотъ именно потому, что я *могу* обойтись безъ Бога, обойтись безъ Него было бы просто подлостью. Тутъ то и начинаются всѣ проблемы: отлично сознавая различіе относительности и абсолюта въ христіанствѣ, мнѣ кажется, что черезъ принятіе одного порядка, (относительнаго) человѣкъ къ другому порядку (абсолюту) отнюдь не приближается; другими словами, что принимая христіанство, человѣкъ не принимаетъ еще Христа; или человѣкъ то, можетъ-быть, и принимаетъ, но человѣчество принять не можетъ; историческое христіанство не открыло *человѣчеству* доступъ къ Христу.

Что-же это, дѣйствительно — проблема, или «потуги на оригинальность»? Развѣ христіанство не

божественнаго происхожденія? И желаніе сліянiя двухъ порядковъ въ одинъ, чаяніе *новаго откровенiя дуга*, не противорѣчитъ ли Писанію, не противорѣчитъ-ли представленію о всемогуществѣ Божіемъ, создавшемъ міръ такъ, а не иначе? — Но что за чисто религіозный предразсудокъ приписывать Богу всемогущество, всезнаніе, и прочія, неперемѣнно «абсолютныя», качества Древняя и дурная привычка обожествленія *силы*; инстинктъ повиновенія, который вмѣстѣ съ суевѣріемъ о наградѣ и возмездіи за наши «дѣла», мѣшаетъ творческой свободѣ осознать себя, и любви — загорѣться. Можетъ-быть, нужно любить Бога не за слова Его и не за дѣла Его? Можетъ-быть *вопреки* словамъ и дѣламъ Его? Можетъ быть *отрицая* и слова Его и дѣла? Только голаго *Его Самого*, за любезность Его? Отрицаніе тоже вѣдь есть причастность къ вѣчно изъ Себя Творящему, къ духу, какимъ онъ былъ «въ моментъ сотворенія міра». Ты любиши начало и все, что не имѣетъ причины, — какая причина воспротивится этой любви твоей, какая заповѣдь? *Irren ist menschlich*, говоритъ нѣмецкая пословица, — можетъ-быть мы и впрямь созданы по «образу и подобію»? Можетъ-быть... *irren ist goetlich*?

БОГЪ НЕ ВСЕМОГУЩЪ.

5.

Кому не приходилось при видѣ человѣческаго — и не только человѣческаго — страданья, подумать: о, если бы я только могъ, я бы тотчасъ-же прекратилъ его, не заботясь о томъ, заслуженно-ли оно или нѣтъ. Какъ же возможно, что Существо всесильное и всеблагое видитъ и не прекращаетъ?

Говорятъ, что человѣкъ, будучи задуманъ свободнымъ, и пользуясь своей свободой для выбора не добра, а зла, долженъ нести отвѣтственность... Богъ не можетъ, молъ, освободить его отъ несенія отвѣтственности (отъ страданья) не лишивъ самой природы человѣческой.

Хорошо, думаемъ мы, — но какъ тогда объяснить невмѣшательство Бога, когда страдаютъ невинные? И намъ говорить, что страданье не есть послѣдствіе неправильнаго выбора, совершаемаго только каждымъ человѣкомъ въ отдѣльности, а есть послѣдствіе выбора, совершеннаго однажды первымъ человѣкомъ, какъ бы за всѣхъ... И хотя нашему человѣческому чувству справед-

ливости и претить мысль о томъ, что потомки отвѣтственны за грѣхъ пра-отца, но невинно-страдающимъ обѣщано зато такое блаженство на «томъ свѣтѣ», что мы охотно дѣлаемъ видъ, что понимаемъ и принимаемъ и это. Тѣмъ болѣе, что повторившимъ въ личномъ порядкѣ дурной выборъ пра-отца, путь къ блаженству тоже отнюдь не закрыть; имъ нужно только *покаяться*, т. е. переизбрать. Что есть покаяніе, какъ не сожалѣнье объ однажды сдѣланномъ выборѣ?

Итакъ, невыбравшимъ вовсе — вѣчное блаженство; выбравшимъ дурно и переизбравшимъ — тоже.

Но причемъ тутъ свобода?

Дѣйствительно, человѣкъ, будто-бы, *задуманъ свободнымъ*, т. е. ему, будто-бы, дается право выбора, пойти направо или пойти налево, но при этомъ его предупреждаютъ: если онъ пойдетъ налево, т. е. совершитъ поступокъ неугодный власти, то будетъ бить; если же заупорствуетъ, то бить будетъ еще больше; если-же такъ до конца и не покается, не повернетъ обратно, то бить будетъ вѣчно! Правдоподобно-ли предположить такое душевное состояніе, въ которомъ сомнѣвались бы сознаніе своей свободы и сознаніе, въ полной мѣрѣ, угрожающихъ вѣчныхъ мукъ? Если-же, выбирая, человѣкъ не сознаетъ въ полной мѣрѣ угрожающихъ вѣчныхъ мукъ, то не похожа-ли такая «свобода» болѣе на чортову ловушку, чѣмъ на Божій даръ? —

Нѣтъ, свобода, ограниченная однимъ только правомъ выбора между добромъ и зломъ, вовсе еще не есть свобода.

6.

Простотой своей странная, ночь преступленья! Какъ легко ты могъ отказаться отъ предмета своего вожделѣнья, только отъ самого вожделѣнья не было силъ отказаться. А главное — и не надо было. Чувства грѣха и раскаянія, желаніе исправиться, — не этимъ ли всѣмъ человѣкъ скрываетъ себя отъ себя? Какъ будто побѣда надъ собою возможна! Тысячу разъ терпитъ человѣкъ пораженіе, а когда онъ на тысячу первый одерживаетъ надъ собою побѣду, это уже не побѣда, а необходимость. Даже больше, — если, однажды избравши, ты долженъ либо переизбрать, либо скатиться кубаремъ въ адъ, то можно-ли еще говорить о свободѣ? И тѣ, кто выбрали «зло» и, несмотря на всѣ страданья,

переизбрать не захотѣвшіе, — не больше-ли знаютъ о настоящей свободѣ, чѣмъ ихъ постные братья? Не они-ли только достойны называться дѣтьми свободы, они, не отдавшіе ее ни за какое блаженство, пусть райское даже? Не мнимую свободу, право выбора только, а свободу настоящую, неизвѣданную, творящую: что ты *сдѣлаешь* съ тѣмъ, что ты (о, какъ несвободно!) выбралъ?

Очевидно, можно представить себѣ двѣ свободы: свободу выбора того или другого и свободу воздѣйствія на однажды выбранное, свободу *нравственную* и свободу *творческую*. И неразрѣшимый, какъ-будто, вопросъ, такъ мучавшій св. Августина, не благъ-ли Богъ или не всемогущъ, что видитъ страданье и не прекращаетъ его, разрѣшается въ ту или иную сторону въ зависимости отъ того, какую изъ двухъ свободъ признать составляющей самую суть человѣка.

Если суть человѣка въ свободѣ нравственной, то, вознаграждая за страданье невинныхъ и покаявшихся, Богъ принужденъ *непокаявшихся* обречь на вѣчныя муки. Адъ онтологически возникаетъ изъ пребыванія въ неправильно совершенномъ выборѣ. И если вспомнить, что ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не далъ бы своей санкціи на бытіе ада, какъ бы онъ ни былъ золъ и грѣшенъ, то Бога, создавшего это «чортово добро и зло», тогда благимъ назвать нельзя. Но и чувство и разумъ противятся такому пониманію свободы. Чувство, для котораго Богъ есть не обожествляемое, а обожаемое, и которое не благого Бога вовсе не можетъ признать Богомъ; разумъ, сознающій, что свобода выбора подъ угрозой возмездія вовсе не есть свобода.

Если-же суть человѣка въ свободѣ творческой, — что *сдѣлаетъ* человѣкъ съ однажды выбраннымъ? — то, по человѣческому разумѣнію, Богъ не всемогущъ, такъ какъ самое сокровенное творчества есть нѣкій безпричинный и непредвидимый Иксъ, появляющійся и являющій абсолютно-новое: *ex nihilo*.

Если Богъ вложилъ въ человѣка не только мнимую, нравственную, свободу, но и свободу подлинную, творческую, то, очевидно, Онъ тѣмъ самымъ добровольно ограничилъ Свое всемогущество. Человѣкъ плюсъ Иксъ = Богъ минусъ Иксъ. Здѣсь открываются совершенно новыя перспективы. Если страданье не есть *наказанье*, то ада, какъ «каторги царства небснаго» вовсе нѣтъ; но если страданье не есть «наказанье», то *что оно?* Какъ возможно оно?

Творческая свобода есть способность созданья никогда прежде не бывшаго, возникающаго, какъ слѣдствіе вѣры въ возникновеніе. Страданье есть то, что противоположно творческой свободѣ; то, что возникаетъ, какъ слѣдствіе ея ущерба или отсутствія.

Свобода человѣка обусловлена Божьей скованностью; сила человѣка — Божьей слабостью. Это значитъ, что въ свободѣ человѣка есть нѣчто равномогущественное утерянной Богомъ части Его силы; потому она — Божья слабость, что полученная отъ Бога часть Его силы. Нѣкій Иксъ, бывшій нѣкогда во всемогущемъ Богѣ, перешелъ въ человѣка, образуя его творческую свободу, — «съ тѣхъ поръ» *Богъ не всемогущъ*.

Передавъ человѣку способность создаванья ex nihilo Богъ слѣпо довѣрился человѣку. «Съ тѣхъ поръ» человѣкъ вправѣ строить жизнь на землѣ такъ, какъ ему хочется. Никакого послѣдствія такъ называемаго грѣха, если только человѣкъ дѣйствительно свободенъ! Нѣтъ такого ущерба, преодоленіе котораго — утопія, ни болѣзни, ни старость, ни даже смерть. Если только человѣкъ дѣйствительно свободенъ. Никакого запрета ни въ чемъ (кромѣ, можетъ-быть, полицейско-общественныхъ, — но не будемъ смѣшивать социологію съ «грѣховѣденіемъ»). Если Богъ есть, то все позволено! И любовь къ Богу нисколько не нужна человѣку, такая любовь нужна только Богу. Богъ довѣрился человѣку, но человѣкъ можетъ и не оправдать довѣрія къ нему, если онъ дѣйствительно свободенъ, и *ему-то* ничего за это не будетъ. Никакого риска. Человѣкъ можетъ, если захочетъ, и себя погубить, — Богъ ничего больше сдѣлать не можетъ. Онъ отдалъ человѣку то Свое, чѣмъ Онъ могъ бы что-нибудь сдѣлать и «съ тѣхъ поръ» можетъ только *страдать*. Страданье — это то, что противоположно творческой свободѣ, — *оно начинается съ Бога*.

Въ корнѣ невѣрна постановка вопроса, — не все благъ Богъ или не всемогущъ, что не прекращаетъ страданья? Отвѣтъ одинъ: конечно, не всемогущъ. Не въ Его власти уничтожить созданнаго Имъ человѣка (а съ нимъ и страданье Свое), такъ какъ это было бы уничтоженіемъ любви, т. е. — по человѣческому разумѣнію — Божіимъ самоубійствомъ. Но вѣрна постановка иная: страдаетъ Богъ, а человѣкъ не хочетъ или не можетъ Ему помочь, *не можетъ Его полюбить*. Такимъ образомъ, и въ мірѣ все достойное помощи — Богъ, или

достойно черезъ причастность къ Богу. Но правда, этотъ маскарадъ ужасенъ. Я люблю, когда я люблю, а когда не люблю, мнѣ кажется, что не могу полюбить.

8.

Послѣдняя цѣль творческой свободы — *снятіе съ креста*.

КОГО ЖАЛѢТЬ?

9.

Слышу гробовое молчанье. Одному человѣку велятъ въ кратчайшій срокъ рѣшить задачу, послѣ чего, въ случаѣ нерѣшенія, его казнить. Старый примѣръ. И вотъ разставили тысячу ловушекъ, чтобы не дать времени рѣшить; съ утра заставляютъ вставать и ѣсть, но и ѣсть не даютъ, какъ только за деньги, а деньги только въ обмѣнъ на чепуху (лишь бы отнять время). Порядочно человѣка утомивъ, ему читають стихи, тутъ же заставляютъ разбирать ихъ, или, сразу изъ пятидесяти инструментовъ, оглушаютъ Бетховеномъ. (Я слышалъ въ Бретани мѣстную музыку, родъ волынки: три высокія, пронзительныя, повторяющіяся ноты. Насколько это «интеллектуально-честнѣе»!). Но это все еще ничего. Въ одинъ прекрасный день ему говорятъ, что беспокоиться больше не о чемъ, что задача имъ уже рѣшена, что онъ вѣритъ, на примѣръ, въ воскресеніе мертвыхъ. Онъ, дѣйствительно, вѣритъ въ это, всегда вѣрилъ и не сомнѣвался, но никогда не думалъ, что это и есть рѣшеніе. Ему казалось, что рѣшеніе задачи — большая, большая *личная удача*, что онъ долженъ что-то *сдѣлать съ собой*, что тяжесть его тяжелѣе всей тяжести міра и что неудача его не только *его* неудача... — Друзья, вѣрующіе, знающіе, чающіе, — и вы постепенно засасываетесь обратно въ норму, въ жизнь! Сознавать-же это и мириться съ этимъ, даже *en tigre une certaine sagesse*, всегда было удѣломъ нѣкихъ гибридныхъ существъ, помѣсей царя Соломона со Смердяковымъ.

10.

Въ человѣкѣ соприсутствуютъ тварь и творецъ. Страданье человѣка-творца есть со-участіе въ страданіи Бога; страданье человѣка-твари есть неудовлетворенное

вождедѣнны: желаніе *имѣть*.

Опредѣленія:

Собственность — это все, что человѣкъ имѣетъ: жизнь, жена, скоть, золото. И все содержаніе закона, на которомъ зиждется міровой порядокъ: не отнимай у человѣка то, что его, — жизнь, жену, скоть, золото.

Свобода — есть внутренняя возможность творчества и отсутствіе внѣшнихъ непреодолимыхъ для него препятствій.

Творчество — осуществляется въ непредписанномъ и безпричинномъ — вдохновенномъ — самоограниченіи; оно есть источникъ возникновенія, условіе развитія и мѣра бытія личности.

Личность — есть носительница творческой свободы.

• • •

Собственность и личность, какъ количество и качество, понятія противоположныя. Подобно тому, какъ всякое тѣло давить на другое съ такою-же силой, съ какой само испытываетъ давленіе, такъ и собственность владѣетъ человѣкомъ въ той-же мѣрѣ, въ какой человѣкъ владѣетъ ею (*). Усиліе обладателя собственности направлено на увеличеніе и сохраненіе ея; потеря ея для него несчастье. Но чѣмъ измѣняется величина собственности? Собственность, величина мѣняющаяся, нуждается для своего измѣненія въ величинѣ немѣняющейся, каковою предполагается собственникъ. *Собственникъ есть мѣра собственности*, — поскольку, конечно, онъ качественно остается неизмѣннымъ. Но качественное измѣненіе собственника способно выз-

*) Для тѣхъ, кто усмотритъ противорѣчіе въ томъ, что сказано раньше: «о если бы я только могъ, я бы тотчасъ прекратилъ страданіе, не справляясь о причинахъ его» и тѣмъ, что говорится здѣсь. Если бы въ мірѣ было только «неуважительное» страданіе, страданія истерическихъ болонокъ, ревнивыхъ, женщинъ, скверно воспитанныхъ дѣтей, богачей, потерявшихъ имущество и т. п., проблемы теодицеи не существовало бы. Впрочемъ, огромное большинство «раскаившихся» какъ-разъ и состоятъ всегда изъ людей, понявшихъ низость вождедѣнія. «Непримиримые» же — всегда, *par essence* тѣмъ, творцы. Гордость побѣждаетъ всѣ остальные «пороки». Какъ же она можетъ сама быть порокомъ? И царство, раздѣлившееся въ себя — устоять?

вать полную переоцѣнку собственности: при уменьшеніи его творческаго импульса — повышеніе цѣнности ея; при увеличеніи его творческаго напряженія — пониженіе ея цѣнности, вплоть, иногда, до полного обезцѣненія. Поэтому, въ интересахъ собственности — качественная неизмѣнность собственника.

Напротивъ, носитель творческой свободы непрерывно мѣняется. Качественная цѣнность сотвореннаго пропорціональна его всеобщности и тѣмъ самымъ утверждаетъ сотворившаго въ его личномъ бытіи, въ его бытіи, какъ личности. «Быть» всегда обратно-пропорціонально «имѣть». Имѣемъ человѣкъ стремится восполнить мѣру недостающаго бытія. По мѣрѣ возрастанія бытія уменьшается потребность восполненія, и совершенное бытіе совпадаетъ съ совершенной бѣдностью.

11.

Снисходительность и милосердіе къ человѣку-твари (собственнику) есть часто жестокость къ человѣку-творцу. Есть, можетъ-быть, посягательство на его вѣчность?

Жалость къ человѣку-твари въ другомъ, не есть ли, въ сущности, только жалость къ твари въ себѣ? Въ отличіе отъ индивидуальности-мелодіи, человѣческая тварность, какъ гармонія, связана общимъ, безликимъ гудѣніемъ. И насколько непріятнѣе со-страдать, чѣмъ просто страдать! Изъ милосердія къ человѣку-творцу согласиться на *дленье* своего со-страданія и къ человѣку-твари. Потому что согласіе на *дленье* своего со-терпѣнья, на прекращеніе его, слѣпо, немедленно, тутъ-же, — согласіе изъ милосердія къ человѣку-творцу, изъ невозможности вынести еще одну Божью неудачу, — и есть, можетъ-быть, настоящая «любовь къ ближнему».

Кто сомнѣвается въ глубоко-эгоистическихъ корняхъ состраданія, кто считаетъ, что дѣло дѣйствительно не въ насъ самихъ, а въ другомъ человѣкѣ, тотъ пусть подумаетъ, почему способность эта, *со-чувствія*, мгновенно пропадаетъ, какъ только рѣчь идетъ не о чужомъ страданіи, а о радости чужой? Со-радоваться радостямъ човѣка-твари мы почти не можемъ; мы испытываемъ, въ лучшемъ случаѣ, равнодушіе, часто лицемѣрно скрываемое, въ худшемъ — зависть (тоже

лицемѣрно скрываемую) (*)

12.

Только тамъ, можетъ-быть, гдѣ человѣкъ до конца
одинокъ, онъ не до конца одинокъ.

О САМОМЪ ДАЛЬНЕМЪ

13.

Не къ отношеніямъ-ли человѣка съ Богомъ сводится весь вопросъ о жизни его и судьбѣ? Но въ то время, какъ отсутствіе всякихъ отношеній часто принимается за отсутствіе... Бога, наличіе ихъ мыслится исключительнымъ, какъ фактъ религіозный. До того даже, что отношенія человѣка съ Богомъ и религія стали синонимами, и никому не приходитъ на умъ, что возможны совсѣмъ иные осознанные отношенія человѣка съ Богомъ — *нерелигіозныя*.

14.

Внутренняя, не только логическая, но и музыкальная, тема религіи — *возвращеніе*. Религія, въ самомъ подлинномъ смыслѣ слова, значить возвращеніе, возсоединеніе («religare»), какой угодно цѣлю. Единственный источникъ духовной жизни человѣка, творческая его свобода, — «ниже отъ Отца исходящая», — возвращается вспять, обратно къ источнику своему, въ источникъ, противъ источника, въ Бога, — противъ Бога? Какъ-будто Богъ помѣстилъ человѣка въ міръ съ единственной цѣлью, чтобы онъ, человѣкъ, какъ можно скорѣе стремился изъ міра уйти...

*) Само собой разумѣется, что вышеприведенное опредѣленіе собственности, понимаемое чисто объективно, можетъ довести до абсурда: гдѣ граница собственности? Есть ли, на примѣръ, мой носъ моя собственность? И т. д. Однако-же, мы говоримъ: солнце взошло или закатилось, прекрасно зная, что это земля движется, а не солнце. То же и съ собственностью: человѣкъ имѣетъ то, что *считаетъ* своимъ, къ чему *привязанъ*. И нищій можетъ быть собственникомъ, какъ миллионеръ.

Какъ это происходитъ «технически»? Очевидно, творческая свобода, изливаясь въ міръ, наталкивается на нѣчто, съ ея природою совершенно несовмѣстимое, и это нѣчто — ничто иное, какъ законъ собственности, на которомъ зиждется весь міровой порядокъ. Міровой порядокъ обволакиваетъ изливающуюся въ него творческую свободу, задерживаетъ ее движеніе, парализуетъ ея мощь; какъ вода, обволакиваемая пескомъ, землей, известью, творческая свобода образуетъ болото культуры. И основою культуры объявляется тогда культъ Бога, учредившаго, якобы, собственность. И собственность, въ свою очередь, объявляется — священной!

Такимъ образомъ *собственность*, «религія» массъ, и *возвращеніе*, религія одинокихъ, высокихъ душъ, не только не исключаютъ другъ друга, но, напротивъ, создаютъ и обуславливаютъ. Казалось-бы, тому, кому міровой порядокъ «не нравится» вольно отказываться отъ собственности *своей*, лишь-бы онъ не посягалъ на собственность *чужую*. Заблужденіе! Гдѣ тотъ поступокъ, который не былъ-бы примѣромъ или проповѣдью? Человѣкъ примѣромъ или проповѣдью нарушающій законъ собственности, этимъ ее въ глазахъ міра *обезцѣниваетъ*. Даже преступникъ, корыстно, въ свою пользу нарушающій законъ, не совершаетъ столь противо-общественнаго поступка, потому что въ преступленіи его нѣтъ ничего обезцѣнивающего собственность, какъ таковую. Но обезцѣнивающій есть бунтовщикъ и возмутитель и, съ точки зрѣнія блюстителей мірового порядка, конечно, достоинъ казни. И разбойники такого поносятъ!

Единственная форма, въ которой допускается отказъ отъ «Богомъ данной» собственности, это уходъ изъ міра, возвращеніе въ Бога. Такихъ людей совершенно изъ общества выщѣляютъ, одѣваютъ въ отличительныя одежды, сажаютъ въ особые дома, какъ только могутъ обезвреживаютъ сконцентрированную въ нихъ творческую свободу, чтобы тѣмъ прочнѣе и спокойнѣе изготавлять культурныя цѣнности, прахъ изъ праха для праха; тѣмъ свободнѣе другъ друга поработать; тѣмъ самодовольнѣе вожделѣть, мучить и наслаждаться. Тамъ, гдѣ культурныя устои еще крѣпки, монаховъ очень даже уважаютъ, тамъ склонны даже слишкомъ превозносить ихъ: смотрите, молъ, какой *высоты* достигли эти *исключительные* люди! Гдѣ ужъ намъ, обыкновен-

нымъ смертнымъ!

И, въ свою очередь, становящіеся «монахами» міровой порядокъ и законъ сего — о, если бы беззаконіе! — **утверждаютъ**, заставляя творческую свою свободу — **возвращаться** вспять.

Собственность и возвращенье другъ друга порождаютъ, обуславливаютъ и поддерживаютъ, и соединительное звено между ними есть, въ церкви происходящій, культъ всемогущаго будто-бы Бога, учредившаго, **будто-бы**, и то и другое!

16.

Совершенно очевидно, что если существующій-міровой порядокъ, съ собственностью и съ возвращеніемъ, т. е. порядокъ религиозный, есть дѣйствительно Богомъ установленный, единственно возможный на землѣ порядокъ, то всякое проявленіе творческой свободы, противъ него направленное, *въ томъ числѣ и самое высокое изъ всѣхъ бывшихъ когда-либо на землѣ*, есть проявленіе воли противобожеской.

Достойно удивленія, что несмотря на всѣ противорѣчья и двусмысленности христіанства, мысль о люциферичности І. Христа мало кому приходила въ голову. Это показывать только, насколько сильно была власть догматики въ «до-психологическую» эпоху. Въ Россіи, Розанову первому, кажется, явилась это подозрѣніе. Онъ видѣлъ однако люциферичность только въ отрицательномъ, по отношенію къ жизни, устремленіи воли, — въ томъ, что здѣсь называется — **возвращеньемъ**. Но то, что онъ возвращенью противопоставлялъ, въ дѣйствительности находится по одну сторону съ нимъ, а по другую — творческая свобода! Именно непониманіемъ свободы больше всего грѣшилъ Розановъ. Въдѣ точно такъ же, какъ «міръ» обволокъ ее — свободу — собственностью, такъ и «анти-міръ» воспользовался Христовой тѣнью (темнымъ Ликомъ), чтобы поддержать ея дѣйствіе и прельстить носителей ея сладостнымъ забвеніемъ. Церковь возродила въ новой формѣ все тѣ-же два древнихъ религиозныхъ начала: охрану собственности въ міру и предохранительный клапанъ, уходъ изъ міра сильныхъ, со связующимъ оба начала культомъ. Блюстители мірового порядка сначала казнили І. Х., какъ мятежника, затѣмъ, поколебленные въ своихъ устояхъ, только постепенно, долго брали верхъ, пока не вернули, видимо, жизнь въ «нормальную» колею. «А мы надѣялись-было, что Онъ есть Тотъ»,

Который долженъ избавить Израиля».

17.

Можетъ быть, міръ и человѣкъ вовсе не сотворены, а противъ воли Бога, вырвались изъ Него на свободу, быть — самостоятельно? И трагическое это бытіе ничѣмъ, кромѣ небытія, не осмысливается и не завершается? Тогда тема возвращенія есть отвѣтное Богу звучащее «религія» — ничто угодное Ему! Но если Богъ для чего-то міръ сотворилъ, и помѣстилъ въ немъ человѣка лицомъ къ нему, спиной къ Себѣ, оставаясь тыломъ человѣка при творческомъ воздѣйствіи послѣдняго на міръ, тогда, поворачиваясь къ міру спиной, живя не отъ Бога къ міру, а отъ міра къ Богу, т. е. становясь *религіознымъ*, человѣкъ дѣйствуетъ, очевидно, не согласно съ волей Божьей, а ей наперскорь. И Богъ принужденъ терпѣть религію, какъ дленье Своей ушербоности и немощи Своей. Доколѣ?

18.

Когда, въ началѣ, Богъ сотворилъ человѣка въ мірѣ — это былъ рай. Религія есть стремленіе выйти изъ рая. *Раздѣлиться* на духовное и недуховное, и духовная любовь къ Богу, *похоть духа*, желаніе связаться, воссоединиться съ Богомъ, сдѣлать Бога имманентнымъ одному сознанію, сознать Его, какъ Обитателя одного сознанія — попытка обезбоженія міра. Попытка, если возможно, растлѣть Бога! Бредъ. Поразить Его въ самомъ тайномъ Его!

И если рай есть свобода отъ Бога къ міру, въ мірѣ; и если религія совпадаетъ съ погашеніемъ рая; то, усумнившись однажды въ привычныхъ представленіяхъ, — въ безвозвратную гибель пустившись по дебрямъ выдумокъ и догадокъ, — позволительно задать себѣ вопросъ: *религія! не есть-ли она не послѣдствіе грѣшпаденія, а....*

Религія — стояніе спиной къ міру, къ Богу лицомъ; рай — спиной къ Богу, къ міру лицомъ (начало). «Если не обратитесь и не станете, какъ дѣти...» — но что есть менѣе религіознаго и болѣе райскаго, чѣмъ дѣтское на землѣ?

19.

Если свобода выбора добра или зла, съ каторгой въ случаѣ отказа отъ перевыбора, есть свобода религіоз-

ная, то нельзя-ли назвать творческую свободу, съ правомъ выбора чего угодно, съ нѣкимъ Иисомъ, абсолют-но-новымъ, — свободой *антирелигіозной*? «Духъ дышитъ, гдѣ хочетъ».

20.

Можетъ-быть, церковь прекрасно это знаетъ; можетъ быть, послѣдняя тайна ея вовсе не небытіе чистилища, а небытіе ада? Перспектива: творческая свобода — любовь Божья къ Себѣ черезъ человѣка — побѣдить всякое данное страданье, всякую данную немощь, чтобы съ большимъ, быть можетъ, страданіемъ, *создать большее на землѣ*? Въ предчувствіи этого послѣд-няго откровенія Духа, этой послѣдней революціи, можно найти объясненіе тому, отчего происходятъ въ мірѣ пародіи на революцію. Церковь такъ долго и упор-но скрывала, что Богъ не всемогущъ, что все уродство и и юродство міра не могли быть объяснены иначе, какъ тѣмъ, что Онъ не всеблагъ. Отсюда противъ - и без-божье. Но «безбожники» нашихъ дней паивные и же-стокіе потомки просвѣщенцевъ 19 в. Ихъ «строитель-ство» несомнѣнно отличаетъ ихъ отъ... пастуховъ (нель-зя сказать: отъ барановъ), но уровень ихъ мечты палъ до общедоступности, до легкой всеобщей удовлетвори-мости, полезной для здоровья. Не будемъ вспоминать о нихъ. Революція противорелигіозна — не противъ-божеская карриатура на нее! — произойдетъ, когда человѣчество пойметъ всю любовь Божью, и беззащит-ность Его, «возмутится духомъ» и бросится къ Нему на помощь. Противорелигіознаго человѣчества еще ни-когда не было.

Ты можешь, съ полной надеждой на успѣхъ, сбросить съ себя бремя правственнаго выбора (пока я счи-талъ себя грѣшнымъ, я и былъ таковымъ; какъ пере-сталъ считать, пересталъ и быть. Съ удивлені-емъ — поплылъ, не пошелъ ко дну!) можешь пере-мѣстить все свое представленіе о времени и жизни такъ, что *начало* не будетъ чѣмъ-то, когда-то, безвозвратно бывшимъ, а напротивъ, будетъ тою вѣчно изъ себя рождающеюся и рождающей, вѣчно-новою, влекущею силою, источникъ которой — въ кон-цѣ: рай. Творческая свобода есть и путь, и идущій пу-темъ этимъ. Она есть чистая вѣра, чуждая всякаго сомнѣнья и всякой двойственности. Вдохновенье, не знающее о себѣ, что оно разсчитъ; разсчитъ, не знающій о себѣ, что онъ вдохновенье.

Л. КЕЛЬБЕРИНЪ

ЖИЗНЬ...

Что такое *внѣ времени*, и какъ это относится ко *временному* (нашъ міръ), гдѣ все имѣетъ начало и все кончается?

И зачѣмъ существовать здѣсь время, если въ безконечности его нѣтъ? Категорія сознанія... Но дѣтство, молодость, зрѣлость, старость... весна, лѣто, осень, зима... Время все таки есть тамъ, гдѣ все подвержено измѣненіямъ.

Если нѣтъ безсмертія души — все очень понятно. «Тысяча съѣденныхъ котлетъ» (юморъ повѣшеннаго Багрова), плоско и скучно, но убѣдительно: нѣтъ и нѣтъ, что же подѣлаешь!

Но если безсмертіе есть, то какъ намъ свести концы съ концами? Вѣдь безсмертіе — вѣчная жизнь, и что тогда, по сравненію съ безконечной жизнью, наша, эта?

Вспоминаю какую-нибудь минуту, которую я пережилъ очень давно. Не такъ ли — та жизнь, которую я живу сейчасъ, вспоминается въ безконечной жизни?

Мы не привыкли думать. «Безсмертіе души» — и только. Но если душа безсмертна, значить она живетъ безконечно долго, тогда — гдѣ, какъ, въ какой средѣ (кроме мгновенья, — вѣка на этой землѣ), и живетъ, слѣдовательно, не въ пустотѣ, а среди себѣ подобныхъ (страшно — въ приложеніи къ «душѣ»), слѣдовательно, тамъ есть встрѣчи, отношенія, чувства, мысли, занятія, — а если нѣтъ — что же? Темнота? Спячка, безъ сознанія — но тогда нельзя говорить, что душа безсмертна.

Мы представляемъ себѣ смерть, какъ пустоту, или какъ будто бы мы будемъ одни въ темнотѣ. Но если есть жизнь души, если она безсмертна, то вѣдь очень много такихъ же, какъ я... Начинается головокруженіе. Нужно слегка сойти съ ума, чтобы продолжать эти разсужденія. Но если душа безсмертна, значить у нея есть жизнь. А тогда, по сравненію съ этой безграничной жизнью, все, что случилось со мной здѣсь (въ теченіи «земной»), все, что еще случится, мои дѣла, интересы, несчастія, болѣзни и т. д., и т. д. — все измѣняетъ смыслъ. Не все ли равно, какой «судьбою» сейчасъ испытываешь Ты меня, если Ты далъ мнѣ неразрушимую жизнь?

И тогда нужно искать совсѣмъ иныхъ отправныхъ точекъ для построенія идеи о человѣкѣ, о положеніи его въ мірѣ, о жизни, о Богѣ. Наши отправныя точки — никуда не годятся...

Двѣ психологіи, точнѣе — два рода ощущенія себя существуютъ въ мірѣ спиритуалистовъ. Матеріалисты не въ счетъ, они сами себя приравняли къ машинамъ.

Для одного рода ощущенія характерна идея о человѣкѣ, какъ о духѣ, главное назначеніе котораго жить духомъ планѣ. Духъ, заключенный въ плоть, но изъ плоти высвобождающійся, плоть-темницу ненавидящій, и въ концѣ концовъ («конецъ» — какъ бы наше безсиліе представить процессъ, совершающійся въ вѣчности) — чистый духъ, становящійся Чистымъ Духомъ.

Насъ, христіанъ, въ школѣ учатъ иначе, но сердцемъ мы вѣримъ ощущенію нашихъ праотцовъ: «Царство Мое не отъ міра сего»; святые, при жизни обрѣтающіе духовный, ангелоподобный образъ; наше представленіе о святыхъ, какъ объ освободившихся отъ плоти; наши представленія о простыхъ умершихъ, какъ о полныхъ личностяхъ, цѣлостно, всѣмъ своимъ «я» переходящихъ въ иной міръ, а адѣсь, на землѣ, оставляющихъ лишь оболочку, прахъ — неизмѣнны.

Что такое воскресеніе тѣла, какъ мы его ощущаемъ сердцемъ? Человѣкъ — духъ. «Тѣло временно, Я — вѣченъ», такъ можно было бы выразить наше ощущеніе себя.

Съ какой стойкостью, 2000 лѣтъ спустя послѣ христіанизации міра, народная душа грековъ, римлянъ, германцевъ, кельтовъ, славянъ хранитъ браманическое ощущеніе человѣка, исповѣдустъ его сердцемъ. Для насъ — умершій (если мы вѣримъ въ безсмертіе) не только не умаленъ фактомъ разрѣшенія тѣла, но скорѣй — возвышенъ. Покойникъ («вырвавшійся изъ темницы»), вчера еще — вполне обыденный человѣкъ, ставъ духомъ, дѣлается значительнымъ и мудрымъ, молится о насъ и помогаетъ намъ, оставшимся.

Обрядъ нашихъ похоронъ въ его эмоциональномъ строѣ (не слова, которыя приносятся, но чувства, которыя помимо словъ возникаютъ) утверждаетъ торжество духа надъ плотью, вѣчнаго надъ временнымъ.

Кто, стоя у гроба, вспоминаетъ, что съ умершимъ онъ встрѣтится по воскресеніи тѣла? Въ томъ же, что встрѣтимся мы тамъ, послѣ физической смерти никто не сомнѣвается. Первое — не наше, ученіе Церкви, лишь заставляетъ напрягать разумъ. Легко и свободно наше чувство безсмертія возникаетъ само собой.

О, какъ страшно близки и намъ тѣ эллинскіе му-

жи, которые вѣсть о воскресеніи тѣлъ приняли, какъ безуміе:

— Зачѣмъ освобожденному то, отъ чего онъ призванъ освободиться? Развѣ одна земля, и развѣ во вселенной только эта планета населена, и только ли въ связи съ этой землей безсмертный духъ можетъ жить?

Есть другое ощущеніе человѣка. *Человѣкъ — тотъ, кто живетъ на землѣ* — тѣло, глаза, уши, члены. Жизнь — то, что можно ощутить, взять, взвѣсить, пощупать теплоту. «*Душа*», гоіаѣш, «дыханіе устъ» — не *человѣкъ*, и внѣ плоти (безъ тѣла) — нѣтъ полноты, нѣтъ *человѣка*, и есть ли вообще жизнь внѣ тѣла? Шеолъ — ни адъ, ни рай. Шеолъ — ничто. Сонъ. Небытіе. Царство смерти.

Въ прахъ превращаются тѣла, кости не дышатъ. Но вотъ прошло по нимъ вѣянье Духа — и возстали кости, сдѣлались плотью, вошло въ нихъ дыханіе и люди снова стали живы.

Какая сила поэзіи, и какая *бездна* лежитъ между этими двумя ощущеніями *человѣка*! Какъ трагически-непоправима смерть во второмъ случаѣ и какъ сильна сила всеобщаго воскресенья!

— Нѣтъ предсуществованія *человѣка* (Оригенъ), нѣтъ дотѣлеснаго состоянія и перевоплощенія духовъ (Платонъ, Веды).

Творецъ изъ ничего, изъ небытія, изъ сѣмени родителей воздвигаетъ бренное и прекрасное существо: *человѣка*.

Дышитъ *человѣкъ*, пока живъ, дыханіемъ своимъ, и умираетъ. Умеревъ, будетъ въ концѣ временъ вновь воскрешенъ къ жизни, въ измѣненномъ тѣлѣ, на измѣненной землѣ...

Двѣ тысячи лѣтъ два противоположныя ощущенія на насъ воздѣйствуютъ. (*) Не потому ли такъ притягиваютъ людей къ себѣ сейчасъ (впрочемъ — и вѣкъ назадъ, и два, и съ первыхъ временъ христіанства) мистическія братства. Братства, ставящія своей цѣлью дать *человѣку* отвѣтъ:

— Кто я? «Gnose se avton» — «познай самаго себя»...

Если безсмертіе есть — не можетъ не быть жизни, а если жизнь есть — она не можетъ быть исчерпана од-

*) Частичный судъ, пребываніе до суда души въ аду или въ раю, идея чистилища — результатъ компромисса двухъ народныхъ психологій.

ной ея формой, — ничтожной по отношенію къ безсмертію, — земной жианью.

И какъ невыносимо, если безсмертіе есть, несоотвѣтствіе между уровнемъ земныхъ интересовъ: мелочи, тщета, суета — и безконечной жизнью духа.

Но что такое тѣло? Не напрасно ли мы считаемъ его низкимъ и грѣшнымъ?

Обычно человѣкъ не создаетъ себя внѣ тѣла; но тѣ, у кого сознаніе начало перемѣщаться, знаютъ о себѣ другое:

«— Духовъ безплотныхъ сладострастье»...

Тѣло — спасительное убѣжище для души потому, что благодаря соприкосновенію съ матеріей, духи могутъ на время, выявляя свои желанія въ формахъ, освободиться отъ желаній. Это возможно потому, что тѣлесныя возможности ограничены пространствомъ и временемъ; выраженные въ соотвѣтствующей формѣ желанія на время исчерпываютъ себя и временно успокаиваются.

Душа же сама по себѣ, если бы у нея не было временнаго убѣжища — тѣла и временной свободы — освобожденія путемъ воплощенія желаній, все время была бы занята ими, и не имѣла бы возможности «поднять глаза вверхъ», на чемъ либо внѣ себя сосредоточиться.

Не въ этомъ ли состоятъ адскія мученія страстныхъ душъ, «огнь поѣдающій, жажда ненасытимая», и не потому ли онѣ не могутъ перейти черты, которая отдѣляетъ ихъ отъ душъ блаженныхъ?

Жизнь въ тѣлѣ не наказаніе, и не изгнаніе, какъ думалъ Платонъ, но милость Творца къ падшему Адаму («Сдѣлалъ имъ одежды изъ кожи»), возможность опомниться и захотѣть другого.

... И вотъ моя рука, она двигается, я повернулъ голову. Это старѣющее съ каждымъ днемъ и уже большое тѣло — Я, и когда на это я надвигается угроза разрушенія, стѣсненіе его свободы, тогда съ какой остротой мы чувствуемъ всю его неповторимость, всю тяжесть приближающейся смерти, когда его-меня, перваго неповторимаго, единственно-извѣстнаго мнѣ человѣка — не будетъ.

Жизнь, что это такое? Если міръ таковъ, какимъ я его воспринимаю, и столько вокругъ страданія и зла — то «отчего?» и «почему?» и «развѣ нельзя, чтобъ это не было?»

Ограниченное сталкивается съ Неограниченнымъ, и ограниченное не можетъ понять, не можетъ повѣрить,

что жизнь есть благо, и не можетъ закрыть глаза на окружающіе его холодъ, безсмыслицу, пустоту.

Что же это такое? Въ чемъ коренится наша непрестанная воля жить, наперекоръ сознанію, эту жизнь разлагающему?

Въ чемъ необъяснимая убѣдительность какойнибудь минуты — вѣтка дерева, лучъ солнца, человѣческое лицо, — которая вдругъ, разсудку наперекоръ, все оправдываетъ и все искупляетъ?

И почему, пока мы не очень больны, или не очень несчастны, мы живемъ, какъ будто бы смерти не было, а когда очень больны и все человѣческое отходитъ въ сторону, вмѣсто того, чтобы только бояться смерти, смутно на что то надѣмся, — на что же, когда надѣяться больше не на что?

Человѣческій глазъ воспринимаетъ колебанія свѣта «отъ» — «до». Свыше 40.000 колебаній въ секунду и до 10.000 свѣтъ для насъ не существуетъ. Свѣтовые лучи воздѣйствуютъ на насъ, вліяютъ на наши физиологическіе процессы, на нашу психику, быть можетъ опредѣляютъ въ насъ тѣ, или инныя настроенія. Но *человѣкъ мѣра всѣхъ вещей*; свѣта внѣ поля нашего зрѣнія для насъ не существуетъ.

Что, если подобно свѣту, и все въ жизни, вплоть до чувствъ, любви, смысла, цѣли существованія, мы способны воспринимать не полно, а лишь въ извѣстномъ отрѣзкѣ?

Наше воспріятіе жизни (и смерти, поскольку мы ее можемъ воспринимать) ущербно, не полно, и потому существуетъ вѣчный разладъ сознанія и инстинкта.

То содержаніе жизни, которое мы осознаемъ не сходится съ подлиннымъ содержаніемъ жизни; видя полную безвыходность, безсмыслицу «міровой чепухи», мы тѣмъ не менѣе, за исключеніемъ патологическихъ случаевъ, не только не хотимъ прервать жизнь, вырваться изъ этой чепухи (что было бы логично), но, наоборотъ, цѣпляемся за жизнь, не хотимъ ее прекращать («умирать»), живемъ наперекоръ всему.

Не этотъ ли невидимый свѣтъ, не сознаваемый смыслъ, незримая полнота удерживаютъ въ насъ волю жить?

Что же такое человѣкъ, существо, во снѣ себя не сознающее, а въ бодрствѣнномъ состояніи сознающее себя такъ относительно? Не знающее природы своей, начала и конца (если есть вообще конецъ и начало), живущее въ измѣняющемся во времени матеріальномъ мірѣ — но только ли въ немъ, да и что такое, по суще-

ству, матерія?

Кто ты? — Вопросъ Сфинкса, и Эдипъ стоитъ передъ нимъ, все такъ же безпомощно. Отвѣты даны, отвѣты давались, — и все таки — какіе же это отвѣты?

Ю. ТЕРАПІАНО

ГЕНРИЕТТА

Писалъ для Тебя
и думалъ о Тебѣ.

В. ЗЕНЗИНОВ

Ему всего 23 года, но у него уже есть прошлое. Он началъ съ духовной карьеры: въ шестнадцать лѣтъ выступилъ проповѣдникомъ въ Венеціи, въ церкви св. Даровъ, но весьма неудачно — спутался, потерялъ нить, и заготовленная проповѣдь съ цитатами изъ Вергілія пропала. Одни стали выходить изъ церкви, другіе откровенно смѣялись. Это такъ подѣйствовало на молодого проповѣдника, что онъ упалъ въ обморокъ на самой кафедрѣ. Потомъ скинулъ рясу и уѣхалъ въ Падую. Но и тамъ, какъ въ Венеціи, пылкій натурѣ его ночные кутежи, карты и всякія проказы казались гораздо интереснѣе и увлекательнѣе богословія, права и даже латинскихъ поэтовъ, которыми онъ занимался. Онъ жилъ, какъ полагалось тогда жить доброму венеціанцу: *la mattina una messetta, l'apodisnar una bassetta e la notte una donnetta* (утромъ месса, послѣ обѣда прогулка, ночью дѣвчонка).

Посыпались, однако, наказанія: сначала закрытая духовная семинарія въ Мурано, затѣмъ даже крѣпость св. Андрея на берегу Адріатическаго моря. Послѣдняя попытка духовной карьеры — путь въ далекую Калабрію, куда его вызвалъ покровитель-епископъ. Но что за жизнь въ глухой и дикой деревнѣ! И онъ бѣжалъ въ Неаполь, оттуда въ Римъ, пѣшкомъ. Вѣдь гораздо занимательнѣе бродить по пыльнымъ дорогамъ съ нѣсколькими паоли въ карманѣ, искать счастливой встрѣчи съ какимъ-нибудь знатнымъ вельможей или молодой красавицей, нежели похоронить себя въ глуши, среди неотесанныхъ и грубыхъ людей.

Въ Неаполѣ онъ встрѣтился съ однофамильцемъ; легко убѣдилъ его въ знатности ихъ рода, составилъ генеалогію, шедшую до XIV-го вѣка... «Родственникъ» оказалъ ему, кстати, денежную поддержку. Оконча-

тельно рѣшилъ онъ перемѣнить карьеру — на военную — въ Болоньѣ. Онъ уже зналъ, какъ выгоденъ военный мундиръ: нужно лишь имѣть немного рѣшительности и апломба, а этого у него было сколько угодно. Онъ вызвалъ портного и заказалъ мундиръ по собственному вкусу: бѣлый кафтанъ, голубой жилетъ, золотыя эполеты и золотой темлякъ, длинная шпага, шляпа съ перомъ и черной кокардой (въ запасѣ у него была и красная). Сверкающій военный мундиръ шелъ ему куда больше, чѣмъ темная ряса, — восхищенные женскіе взоры провожали красиваго юношу на улицахъ Болоньи. Въ Венеціи онъ выдалъ себя за офицера испанской арміи и былъ принятъ на службу. А затѣмъ пошелъ рядъ самыхъ необыкновенныхъ приключеній: на островѣ Корфу, въ Константинополѣ, на островѣ Казопо, некоронованнымъ королемъ котораго онъ сдѣлался...

Таково богатое «прошлое» 23-хъ лѣтняго юноши, когда онъ снова появляется на родинѣ.

Могъ ли этотъ живой, какъ ртуть, фантазеръ и сынъ своей эпохи не заинтересоваться «тайными науками» и каббалой, хотя ее преслѣдовала святѣйшая инквизиція? Не оттого ли каббала такъ и влекла его къ себѣ? Онъ любилъ все, что было запрещено. А имѣть сношенія съ тайными силами, знать будущее, умѣть предвидѣть его и предсказывать — какая власть надъ людьми! Онъ былъ убѣжденъ, что его судьба — особая и что отъ него зависятъ судьбы другихъ. Во всякомъ случаѣ, благодаря каббалѣ попалъ онъ въ городъ Чезену, гдѣ встрѣтилъ самое, можетъ быть, необыкновенное приключение своей необыкновенной жизни — настоящую любовь.

Магическія операціи въ поискахъ клада, любовная интрига съ Жюльеттой, расправа съ мнимымъ графомъ Альфани, ночью «фараонъ» съ графомъ Спада, сорванный и сейчасъ же вслѣдъ за тѣмъ проигранный банкъ... все это — пестрый, привычный фонъ жизни. Графъ Спада — увлеченъ новымъ знакомымъ, зоветъ его къ себѣ, въ Бризигетту, но юному герою на утро надо ѣхать зачѣмъ то въ Неаполь... Онъ уже отдалъ распоряженіе о лошадяхъ хозяину постоялаго двора, гдѣ остановился.

Но что это за дикій шумъ ночью, почти у самыхъ его дверей? Соскочивъ съ постели, открываетъ онъ дверь въ корридоръ и видитъ: цѣлая куча гнусныхъ папскихъ сбировъ ворвалась въ сосѣдную комнату. Тамъ, на широкой постели, почтенный пожилой человѣкъ въ ночномъ колпакѣ; онъ сердито кричитъ и ругаетъ *на ла-*

тинскомъ языкѣ сбировъ, всюду сующихъ нось...

Что случилось?

Хозяинъ объясняетъ, что дѣло просто: полиція епископа захотѣла провѣрить, съ кѣмъ спитъ проѣзжій. Если это его жена, пусть покажетъ бумаги, — и они могутъ спать дальше. Если не жена, оба должны отправиться въ тюрьму: церковь строго блюдетъ за нравственностью чужестранцевъ. Проѣзжій, къ сожалѣнію, не говорить по итальянски...

Онъ возмущенъ поведеніемъ ретивыхъ слугъ епископа; кстати, фізіономія проѣзжаго ему нравится, да и почему не принять участія въ лишнемъ скандалѣ?... Для начала, объяснивъ проѣзжему, по латыни, причину вторженія полицейскихъ, онъ бросаетъ сбирамъ золотой, безъ церемоніи выталкиваетъ ихъ изъ комнаты и сбрасываетъ съ лѣстницы хозяина постоялаго двора.

Проѣзжій смѣется. Какъ это доказать, что законы нравственности нарушены? Да надо еще доказать, что лицо, спящее съ нимъ въ одной постели, женщина: вотъ рядомъ два офицерскихъ мундира. Наконецъ, если даже и женщина, то кому дѣло, жена это его или нѣтъ...

Логика новаго знакомаго нравится венеціанцу. А когда онъ узнаетъ, что проѣзжій въ самомъ дѣлѣ офицеръ — капитанъ венгерскаго королевскаго полка и ѣдетъ курьеромъ съ депешами изъ Рима отъ кардинала Альбани въ Парму къ Дютильо, первому министру инфанта, дюка Пармскаго, — онъ рѣшаетъ, что дѣло такъ оставить нельзя; надо добиться полного удовлетворенія, и онъ бурно принимается дѣйствовать.

— Капитанъ! Сейчасъ я все устрою, не беспокойтесь — оставайтесь въ постели.

Какъ вихрь врывается онъ къ епископу въ самую его спальню, пинкомъ ноги отбрасываетъ загородившаго ему было дорогу лакея, гремитъ и негодуетъ противъ попрапія сбирами «священныхъ правъ челоуѣка и націй», потомъ бѣжитъ къ новому другу своему, графу Спада, черезъ котораго, въ концѣ концовъ, и устраиваетъ дѣло къ торжеству венгерца и своему собственному: венгерцу были принесены извиненія, упрочено 30 цехиновъ и т. д.

Почему, однако, онъ такъ кипѣлъ, почему принялъ такъ близко къ сердцу судьбу венгерскаго капитана? Изъ чувства справедливости, негодованія противъ сбировъ епископа?... О, нѣтъ; его заинтересовала та, что приталась подъ одѣяломъ венгерца. Неясное предчувствіе новой таинственной интриги волновало его.

Онъ болтаетъ съ капитаномъ, рассказываетъ о своемъ визитѣ къ епископу — и, наконецъ, не выдерживаетъ.

— Какой національности вашъ спутникъ?

— Французской, — и говорить только по французски.

— Значить, и вы говорите по французски?

— Ни слова.

— Замѣчательно! Какъ же вы объясняетесь другъ съ другомъ? Пантомимой? Это не легко...

— Конечно, если дѣло идетъ о мелочахъ, — но въ существенномъ мы другъ друга понимаемъ.

— Могу я пригласить васъ обоихъ позавтракать со мной?

— Переговорите съ моимъ спутникомъ,

— Могу ли я просить васъ оказать мнѣ честь, любезный спутникъ капитана, позавтракать со мной? — галантно обращается онъ *по французски* къ фигурѣ подъ одѣяломъ.

Изъ подъ одѣяла появляется голова. Предчувствіе не обмануло его — что за очаровательная головка! Спутанныя кудри, шаловливая улыбка, молодые веселые глаза. Она похожа на мальчишку; но сердце венеціанца нельзя обмануть.

— Я имѣлъ счастье, — заявляетъ онъ съ галантною маркиза XVIII-го вѣка, — заинтересоваться вами раньше, чѣмъ увидѣлъ васъ, — теперь же мое желаніе быть вамъ полезнымъ удвоилось.

Незнакомка отвѣчаетъ на комплиментъ съ быстротою и остроуміемъ, которые приводятъ венеціанца въ восторгъ — онъ впервые встрѣчается съ француженкой. До сихъ поръ онъ только слышалъ отъ другихъ о тонкости обращенія и изяществѣ французовъ.

Они завтракаютъ вмѣстѣ; а вечеромъ графъ Спада, послѣ благополучно улаженной капитанской исторіи, пригласилъ ихъ всѣхъ къ обѣду.

Венеціанецъ заходитъ за своими новыми знакомыми, чтобы вмѣстѣ идти къ графу. Француженка одѣта въ какую-то фантастическую военную форму, которая къ ней очень идетъ. Ея красота кажется ему ослѣпительной. Новые фантастическіе планы носятъ у него въ головѣ.

«Къ чорту Неаполь! Надо ѣхать въ Парму, вмѣстѣ съ ними!»

За обѣдомъ — блестящее общество, среди приглашенныхъ нѣсколько дамъ. Всѣ уже знаютъ исторію капитана и его спутника, но дѣлаютъ видъ, что прини-

мають молодую французенку за офицера. Смѣются надъ святѣйшей инквизиціей, которая хочетъ заставитьъ всѣхъ мужей спать со своими женами. Въ центрѣ общаго вниманія офицеръ-французенка, на бѣднаго капитана съ его латинскимъ языкомъ почти не обращаютъ вниманія.

— Все же странно, — не безъ язвительности замѣчаетъ, обращаясь къ молодому офицеру въ голубомъ мундирѣ, одна изъ дамъ, — что вы можете жить съ человѣкомъ, съ которымъ не въ состояніи объясниться.

— Почему? Въ тѣхъ дѣлахъ, которые мы съ капитаномъ имѣемъ, слова совсѣмъ не нужны.

Дама дѣлаетъ видъ, что не понимаетъ.

— Я не знаю такихъ дѣлъ, которые бы не требовали словъ — устныхъ или письменныхъ...

— Простите, но такія дѣла существуютъ. Напримѣръ, игра...

— Что же, — вы, значить, все время играете?

— Представьте, да — въ этомъ все наше занятіе. Мы играемъ въ фараонъ, и я всегда мечу банкъ.

Присутствующие смѣются.

— И что же? Великъ ли бываетъ выигрышъ банкмета? — спрашиваетъ графъ.

— Ну, что касается выигрыша, то онъ такъ незначителенъ, что о немъ не стоитъ и говорить.

Никто изъ присутствующихъ не рѣшается перевести этотъ отвѣтъ капитану.

Французенка заинтересовала венеціанца, когда онъ ее еще и не видѣлъ. Она понравилась ему, когда показала изъ подъ одѣяла свою головку; еще больше — когда увидалъ ее уже одѣтой. Но окончательно завоевала она его своимъ остроуміемъ и веселой находчивостью. Бхатъ въ Парму теперь рѣшено. Въ своей побѣдѣ онъ не сомнѣвался. Соперникъ, пожилой капитанъ съ его смѣшнымъ латинскимъ языкомъ — не страшенъ...

Впрочемъ, въ своихъ побѣдахъ онъ никогда не сомнѣвался, — кто вообще можетъ передъ нимъ устоять? Сильный, статный, съ бронзовымъ («африканскимъ») цвѣтомъ лица, съ горячими глазами, онъ, если и не былъ красавцемъ, — обладалъ тѣмъ, что важнѣе красоты: живая игра лица влекла къ нему всѣхъ. Онъ увѣренъ въ себѣ, великолѣпно одѣтъ, смѣлъ, даже дерзокъ и не только не избѣгаетъ столкновеній, но самъ охотно ихъ ищетъ. Если его задѣваютъ — отвѣты разятъ, какъ мѣткіе удары шпаги. Онъ убѣжденъ, что ему все позволено. Опасность и рискъ влекутъ его, — развѣ вся его жизнь — не погоня за удачей, какъ въ самой азарт-

ной игрѣ? У него бѣшенный темпераментъ, неудержимая страсть наслажденій, вѣра въ свой геній, воля, рѣшительность, готовность ко всему и — отсутствіе какихъ бы то ни было угрызений совѣсти, по причинѣ отсутствія самой совѣсти... Это ли не великолѣпное животное?

Онъ отлично образованъ, цитируетъ наизусть Гомера, Вергилія (и очень любитъ ихъ), Аріоста, Петрарку. Увлекательный рассказчикъ, — его слушаютъ часами, его приглашаютъ въ изысканнѣйшее общество, имъ угощаютъ. Позднѣе, уже послѣ его знаменитаго побѣга изъ венеціанской «свинцовой» тюрьмы — «*riom-bi*», куда его въ концѣ концовъ засадили такі святыишная инквизиція родного города, — онъ былъ желаннымъ гостемъ европейскихъ дворовъ, гдѣ передъ изысканнѣйшей аудиторіей рассказывалъ о своемъ легендарномъ побѣгѣ... Онъ великолѣпный ораторъ, поэтъ, плачетъ при чтеніи Аріосто... Во всякомъ рѣшеніи его, — какъ бы важно оно ни было, — дѣйствовало мгновенное наитіе, словно блескъ молніи. Онъ вѣрилъ въ свою звѣзду, и она, въ самомъ дѣлѣ, выводила его изъ всѣхъ бѣдъ.

Таковъ онъ былъ, такимъ отразился и въ многочисленныхъ воспоминаніяхъ своихъ. Не про него ли сказаль Гете, что если бы исчезла вся литература XVIII-го вѣка, по однимъ его воспоминаніямъ можно было бы понять, почему произошла французская революція?

Ни одна женщина не могла устоять передъ нимъ. И недаромъ любовь, — любовь, какъ онъ ее понималъ, — сдѣлалась «главнымъ занятіемъ» его жизни. Но это была не столько любовь, сколько откровенное и циничное желаніе обладать чуть ли не всѣми встрѣчающимися на его пути женщинами. *Mille e tre*, или даже больше...

А любовь подлинную, — это невыразимое чувство, едва ли не безуміе, сладкую горечь, жестокую горечь, это таинственное и страшное чудовище, — зналъ ли онъ ее когда-нибудь среди своихъ безчисленныхъ любовныхъ приключеній, жаркихъ объятій? Не владѣла ли имъ лишь жажда обладанія, страсть къ наслажденію? Какъ будто да... И только единственный «эпизодъ» его жизни заставляетъ задуматься. Только одна женщина прерываетъ безконечную цѣпь его побѣдъ. Только тутъ прикоснулся онъ, можетъ быть, къ подлинной любви. Вотъ почему ея образъ окруженъ въ мемуарахъ легкимъ сіяніемъ романтизма. На протяженіи трехъ десятковъ, лѣтъ, съ умиленіемъ и нѣжностью воспоминаетъ онъ о ней, но и въ старости отказывается назвать

ея имя...

Итакъ — рѣшеніе принято, онъ ѣдетъ въ Парму.

Купленъ за двѣсти цехиновъ англійскій экипажъ — гдѣ ужъ влюбленному смотрѣть на расходы? Въ экипажѣ было два мѣста рядомъ и скамеечка напротивъ, которую онъ облюбовалъ для себя: Генріетта будетъ передъ его глазами всю дорогу.

Генріетта его все сильнѣе очаровывала, теперь уже не столько своей красивой внѣшностью, сколько блескомъ остраго ума. Сначала онъ, по ея поведенію и тону разговора за столомъ графа Спада, принялъ ее за авантюристку; но теперь видѣлъ, что она хорошо воспитана и, повидимому, «благороднаго происхожденія».

Первая остановка была въ Форли. Ночевать имъ пришлось въ общей комн. тѣ. Ничего страннаго въ этомъ не было, дѣло обычное для профѣзжихъ. Но онъ все же былъ смущенъ: боялся за себя. У этого циника и авантюриста были свои представленія о чести: онъ съ уваженіемъ относился къ капитану и хотѣлъ, чтобы Генріетта перешла въ его объятія съ согласія венгерца.

Къ счастью, ночь прошла благополучно, — онъ лишь съ удивленіемъ убѣдился, что у Генріетты не было своихъ вещей, — даже бѣлье принадлежало капитану, нижняя рубашка на ней была мужская. Это показалось ему совершенно загадочнымъ.

Въ Болонѣ, послѣ ужина, все сильнѣе сгорая отъ любви, онъ осмѣлѣлъ и спросилъ, какія странныя обстоятельства свели ее съ человѣкомъ, который больше годится ей въ отцы, чѣмъ въ любовники?

— Если хотите знать это, — отвѣтила она со смѣхомъ, — попросите капитана, чтобы онъ самъ разскалъ вамъ исторію нашего знакомства.

Старый капитанъ согласился и повѣдалъ ему весь-ма странную исторію.

Въ Чевитта-Веккии, куда капитанъ поѣхалъ осмѣтрѣть морской портъ (въ ожиданіи, когда въ Римѣ приготовятъ ему депеши для Пармы), замѣтилъ онъ тартану (парусникъ Средиземнаго моря), изъ которой вышли старый офицеръ и дѣвица, одѣтая въ мужскую одежду. Говорили они между собой по французски, — это сказалъ капитану захваченный изъ Рима переводчикъ. Красота дѣвицы поразила. Но онъ, вѣроятно, забылъ бы о ней, если бѣ она со спутникомъ не остановились на томъ же постояломъ дворѣ. Изъ своего окна онъ даже видѣлъ все, что у нихъ происходило. Онъ обратилъ вниманіе, что старый офицеръ и дѣвица другъ съ другомъ не разговаривали — даже за ужиномъ. Утромъ, — когда дѣ-

вица осталась одна въ комнатѣ, простодушный и прямой капитанъ откомандировалъ къ ней свосго переводчика, чтобы предложить ей десять цехиновъ за свиданіе. Тотъ принеся на словахъ отвѣтъ — что, молъ, сейчасъ они ѣдутъ въ Римъ, а тамъ будетъ легче познакомиться.

На другой день поѣхалъ въ Римъ и капитанъ.

Тамъ, за дѣлами и порученіями кардинала въ Парму, капитанъ совсѣмъ было забылъ о прекрасной авантюристкѣ, но за два дня до отъѣзда переводчикъ-чичероне открылъ мѣсто ея пребыванія и сказалъ, что она по прежнему еще со своимъ офицеромъ. На сообщеніе, что черезъ два дня капитанъ уѣзжаетъ, она сейчасъ же отвѣтила, что въ назначенный часъ готова встрѣтить его за воротами города — она сядетъ къ нему въ экипажъ. Условились встрѣтиться за Порто дель Пополо.

Они, дѣйствительно, встрѣтились и съ тѣхъ поръ до сегодняшняго дня не разставались. — «Послѣ веселаго ужина, — закончилъ капитанъ, — когда я уже думалъ, что этимъ и ограничится все мое приключеніе, она, къ удивленію, отказалась отъ десяти цехиновъ и знаками дала мнѣ понять, что поѣдетъ со мной дальше въ Парму, потому что ни въ комъ случаѣ не хочетъ возвращаться въ Римъ. Противъ этого я ничего неимѣлъ; одно было досадно: я никакъ не могъ ей втолковать, что, если за ней будетъ погона, я не сумѣю ее защитить и должеиъ буду отъ нея отказаться. Разговоромъ другъ съ другомъ мы вести не могли, и кто она и что съ ней случилось — я до сихъ поръ не знаю. Называетъ себя Генріеттой, но не думаю, чтобы это было ея настоящее имя. Для меня ясно только, что она француженка, что она покорна, какъ барашекъ, получила, повидимому, хорошее воспитаніе и совершенно здорова. Если она захочетъ разсказать вамъ свою исторію, я буду очень радъ. Я, на самомъ дѣлѣ, дружески къ ней расположенъ, и мнѣ будетъ жаль разстаться съ ней въ Пармѣ».

Генріетта полностью подтвердила разсказъ венгерца; но прибавила, тихо и твердо, что ничего больше о себѣ не откроетъ.

— Я не могу сказать правды, но не хочу и лгать. Въ Пармѣ мы съ капитаномъ разстанемся. Передайте ему, что, если мы съ нимъ послѣ встрѣтимся, онъ должеиъ сдѣлать видъ, что меня не знаетъ. Этимъ онъ довершитъ добро, которое мнѣ сдѣлалъ.

Сказавъ это, она встала и поцѣловала венгерскаго капитана — не столько съ нѣжностью, сколько съ почти-тельностью.

Еще одна мучительная ночь! Онъ сгоралъ отъ лю-

бовной лихорадки. Потребуется ли она и от него разлуки въ Пармѣ? Быть можетъ, тамъ ее ждетъ любовникъ, мужъ? Долженъ ли и онъ больше не узнавать ее при случайной встрѣчѣ? Но кто же она, въ концѣ концовъ? Почему она окружена такой тайной? Утромъ онъ поднялся измученный, но съ готовымъ рѣшеніемъ: необходимо окончательно объясниться. Сначала онъ честно объяснился съ венгерцемъ. Капитанъ понялъ его съ полуслова. Онъ будетъ только радъ, если дальнѣйшія заботы о Генріеттѣ падутъ на него — онъ счастливъ уступить ему Генріетту. Пусть онъ поговорить съ ней самой. И венгерецъ деликатно оставилъ ихъ съ глазу на глазъ.

Генріетта захвачена врасплохъ слишкомъ бурнымъ порывомъ страсти. Такого объясненія въ любви ей еще не приходилось выслушивать.

— Рѣшайте мою судьбу! Или я останусь здѣсь, безъ васъ, или поѣду за вами въ Парму, но тогда съ вами уже не разстанусь! Да или нѣтъ? Рѣшайте!

— Вы... вы имѣете видъ разгнѣваннаго человѣка... Развѣ такъ просятъ о любви?

— Я и не прошу. Можно ли просить о любви? Вамъ надо рѣшить мою судьбу. Долженъ ли я оставаться въ Болоньѣ?

— Я этого не говорила.

— Значить, я могу ѣхать съ вами въ Парму?

— Да, можете ѣхать.

Эти слова разомъ измѣнили все. Онъ упалъ на колѣни, сталъ цѣловать ея ноги — полный благодарности, ласки, подчиненія.

— Клянусь заслужить твою любовь, Генріетта!

— Я вѣрю, вы любите меня. Я сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ, чтобы сохранить васъ.

Развѣ могла она сказать что-нибудь лучше этого!

Чтобы пріѣздъ въ Парму втроемъ не вызвалъ лишнихъ разговоровъ, они разстались съ венгерцемъ передъ Реджіо.

Въ Реджіо, въ ихъ первую ночь, чуть-чуть приподнялась завѣса тайны — Генріетта призналась, что была на краю гибели; если бы она погибла, виноваты въ этомъ были бы ея мужъ и его отецъ, она назвала ихъ «чудовищами»... Но это было и все, что она сказала о себѣ.

На другой день они пріѣхали въ Парму.

Себя онъ записалъ подъ именемъ Фарузи (дѣвичья фамилія его матери), она назвалась Анна д'Арчи, французска. Согласно договору въ Aix-la-Chapelle (18

октября 1748 года), герцогство пармское перешло къ дону Филиппу, инфанту испанскому, который только что прибылъ изъ Мадрида. Городъ кишѣлъ шпионами, — надо было соблюдать осторожность.

Прекрасно обставленная квартира, французскій поварь, молодой слуга французъ, въ погребѣ лучшія французскія вина... Все устроилось какъ то сразу, съ налету, по наитію — теперь все ему удавалось.

Едва закончивъ первыя хлопоты, онъ выбѣжалъ на улицу. Въ городѣ царило оживленіе. Испанскій инфантъ ждалъ свою молодую жену Луизу-Елизабетъ, *Madame de France*, дочь Людовика XV-го. Всюду была слышна испанская и французская рѣчь, итальянцы притихли — Парма превратилась въ ультрамонтанскій городъ. Итальянцамъ непривычно было это странное смѣшеніе французской легкой воздушности съ испанской строгой и накрахмаленной церемонностью, чопорностью.

Нѣжныя заботы о возлюбленной далеко не были кончены. Вѣдь у нея нѣтъ ничего, совсѣмъ ничего, кромѣ все того же военнаго мундира.

На главной улицѣ онъ выбралъ магазинъ модъ и заказалъ кучу тончайшаго бѣлья, накопилъ множество шляпокъ, платьевъ и мантилій, корсетовъ — и всякихъ женскихъ мелочей, — онъ хорошо зналъ тайны женскаго туалета. По улицѣ двинулась цѣлая процессія. Впереди шелъ онъ самъ, за нимъ портниха съ бѣлошвейкой, нагруженная множествомъ пакетовъ и картонокъ — работать придется на мѣстѣ.

Сюрпризъ удался. Генріетта не обнаружила шумной дѣтской радости, она сдержанно похвалила его вкусъ, но, тронутая, сдѣлалась съ нимъ еще ласковѣе, еще нѣжнѣе. Ея ласка была ему дороже всякой благодарности. Она оцѣнила его тонкую деликатность и вниманіе.

Къ обѣду объявился венгерскій капитанъ; Генріетта выбѣжала ему на встрѣчу, расцѣловала, назвавъ «отцомъ» — онъ сіялъ отъ радости, убѣдившись, что, дѣйствительно, передалъ ее въ надежныя руки.

Но вечеромъ, когда они остались одни, герой замѣтилъ на ея лицѣ тѣнь грусти.

— Другъ мой, — сказала она, — ты слишкомъ много расходуешь на меня. Повѣрь, я люблю тебя всей душой, и деньги въ нашей любви ничего не значать — мнѣ ничего отъ тебя не нужно кромѣ тебя самого. Если ты не богатъ, такіе расходы будутъ мнѣ въ тягость.

— Не разрушай вѣры въ мое богатство! Пока ты со мной, богаче меня нѣтъ человѣка на свѣтѣ. Только

никогда не оставляй меня — клянись...

— О, я сама не хочу разлуки! Но какъ знать, что будетъ? Тебя никто у меня не отниметъ, но меня, можетъ быть, уже ищутъ и, если найдутъ, сумѣютъ отнять.

— Намъ опасно оставаться въ Пармѣ?...

— Не думаю, — пока я не встрѣчу людей, которые меня знаютъ... Я убѣждала съ венгерцемъ, который думалъ купить меня за десять цехиновъ, только потому, что меня везли въ монастырь, хотѣли запереть... Но не разспрашивай...

Три мѣсяца безмятежнаго счастья! Можно ли счастье описывать? Его можно только пережить, чтобы потомъ всю жизнь о немъ вспоминать. Недѣли мелькали какъ мгновенья, мгновенье превращалось въ вѣчность. Три мѣсяца раздѣленной, ничѣмъ неомраченной любви! Много это или мало? Неоцѣнимое, неисчерпаемое, неисчислимое сокровище и, вмѣстѣ съ тѣмъ, крошечная крупинка, легчайшая пушинка, почти ничто!

Блаженство въ мірѣ только разъ —

Безумный путь:

Забиться въ морѣ милыхъ глазъ

И утонуть!...

«Я былъ счастливъ съ Генріеттой, — вспоминаетъ онъ позднѣе, — знаю, и она была счастлива со мной. Мы любили другъ друга всей силой любви, мы жили другъ въ другѣ».

Soyez-vous l'un a l'autre un monde toujours beau,

Toujours divers, toujours nouveau;

Tenez-vous lieu de tout: comptez pour rien le reste
— повторяла Генріетта.

Жизнь влюбленныхъ и любящихъ заполнена тысячью мелочей, но развѣ есть въ любви мелочи? Каждое ничтожное, невидимое для постороннихъ, движеніе души кажется самымъ важнымъ, единственно важнымъ — самой жизнью.

Генріетта была не только изящна, красива, она очаровывала возлюбленнаго неизмѣнно-ровнымъ весельемъ, привѣтливостью, всей своей духовной сущностью. Онъ, жадный къ земнымъ утѣхамъ, дорожащій больше всего на свѣтѣ своимъ собственнымъ наслажденіемъ, признается, — и даже съ нѣкоторымъ удивленіемъ, — что отъ разговора съ ней испытывалъ больше радости и счастья, чѣмъ отъ ея объятій. Она была образована, очевидно много читала, обладала тактомъ и природнымъ вкусомъ. Какая то естественная

грація пронизывала ея существо — и духовное, и физическое. Французскій легкій геній сказывался въ ней во всемъ.

Они жили среди непрерывныхъ празднествъ, чередуя прогулки въ экипажѣ съ тихими вечерами вдвоемъ. Но избѣгали новыхъ знакомствъ, инстинктивно чувствуя хрупкость своего счастья и зная, что эта хрупкость зависитъ отъ вѣшнихъ обстоятельствъ, — за себя они не боялись.

Въ жизни Пармы веселый итальянскій характеръ прорывался на каждомъ шагу сквозь испанскую чопорность. Самъ донъ Филиппъ, новый дюкъ пармскій, не могъ удержаться отъ смѣха, слушая изъ своей ложи потѣшныя выходки арлекина. Въ Мадридѣ онъ счелъ бы себя опозореннымъ, рѣшившись смѣяться въ театрѣ. Итальянцы пожимали плечами — они не понимали, какъ можно прятать смѣхъ: развѣ онъ не одинъ изъ лучшихъ даровъ неба? О, покойный дюкъ пармскій Антоніо никогда не пряталъ своего лица и не скрывался отъ подданныхъ, когда ему было весело — онъ смѣялся иногда такъ, что слышно было на улицѣ, и проходившіе мимо дворца только радовались веселью своего дюка.

Не выдержалъ, наконецъ, и влюбленный въ Генріетту итальянецъ.

— Знаешь, мой другъ, пріѣхала супруга инфанта, Madame de France. Сегодня въ оперѣ будетъ парадный спектакль. Ты вѣдь такъ любишь музыку...

— Какъ? Ты хочешь, чтобы я пошла съ тобой въ театръ? Я люблю музыку, но дрожу при мысли, что появлюсь съ тобой въ театрѣ.

— Тогда не лучше ли намъ вообще оставить Парму? Поѣдемъ въ Лондонъ или куда хочешь.

— Нѣтъ, хорошо... пойдѣмъ въ театръ... Только возьми ложу, не слишкомъ открытую.

О, какъ это было неосторожно!

Итальянецъ свелъ знакомство въ книжной лавкѣ съ горбуномъ французомъ, по профессіи граверомъ, въ душѣ же настоящимъ художникомъ-артистомъ: онъ до самозабвенія любилъ музыку и театръ. Скоро французъ былъ представленъ и Генріеттѣ.

Счастье влюбленныхъ было безмятежно, и кто знаетъ, сколько времени еще длилось бы, если бы... если бы не роковой горбунъ!

Оперный сезонъ заканчивался, труппа покидала Парму. Горбуну пришла идея устроить въ своемъ загородномъ домѣ прощальный вечеръ для примадонны и перваго тенора; онъ пригласилъ также Генріетту и итальянца, желая ихъ угостить музыкой и пѣніемъ.

Тревожное предчувствіе охватило Генріетту — нѣтъ, она не пойдетъ! Но другъ уговорилъ ее.

Вечеръ оказался очень интереснымъ. Кромѣ примадонны Баліони и чудеснаго тенора, синьора Ласки, было много незнакомыхъ людей — изысканное общество французовъ и испанцевъ, близкихъ ко двору инфанта. Генріетта была окружена вниманіемъ, на какое способны только придворные XVIII-го вѣка.

Вечеръ начался симфоніей, которую исполнилъ оркестръ. Затѣмъ Баліони и Ласки спѣли свой дуэтъ, Много апплодировали ученику знаменитаго Вандини — онъ исполнилъ концертъ на віолончели.

О, почему они не уѣхали въ Лондонъ!...

Еще не успѣли замолкнуть апплодисменты, какъ Генріетта поднялась съ мѣста, подошла къ молодому віолончелисту, взяла изъ его рукъ инструментъ и скромно, но увѣренно сказала, что сыгранный концертъ можно исполнить лучше. Венеціанецъ не могъ придти въ себя отъ изумленія — это Генріетта, его Генріетта?

Да, это она. Она заняла мѣсто молодого музыканта и попросила оркестръ повторить концертъ. Кругомъ воцарилось молчаніе. Въ чѣмъ дѣло? Можетъ быть она только шутитъ? Онъ былъ, какъ въ лихорадкѣ, дрожалъ нервной дрожью. Къ счастью, никто на него не смотрѣлъ — глаза всѣхъ были съ удивленіемъ прикованы къ молодой красавицѣ. Она тоже на него не смотрѣла... Нѣтъ, она не шутитъ. Вотъ первая пѣвучая нота... Сердце его забилося, онъ подумалъ, что сейчасъ умереть.

Очнулся лишь при единодушныхъ апплодисментахъ. Присутствовавшіе тоже были поражены. Спокойной оставалась одна Генріетта. Съ мастерствомъ, если не съ виртуозностью, сыграла она по нотамъ еще нѣсколько вещей. Ей устроили восторженную овацію.

На итальянца эпизодъ произвелъ такое впечатлѣніе, что онъ выбѣжалъ въ темный садъ, — никто не долженъ видѣлъ его слезъ. — Кто же она, эта загадочная Генріетта? Кто это сокровище, упавшее въ его руки? Развѣ онъ достоинъ его?...

Музыкальный вечеръ въ загородномъ домѣ горбуна оказался роковымъ. Невинное тщеславіе Генріетты, ея желаніе блеснуть игрой на віолончели погубили ихъ счастье. У нея и такъ были всѣ данныя привлечь къ себѣ всеобщее вниманіе, послѣ же вечера у горбуна Генріетту засыпали приглашеніями, молва о ней пошла по всему городу, многіе выражали желаніе познакомиться съ удивительной парой. Но они отклоняли всѣ приглашенія. Особенно тщательно Генріетта избѣгала

придворные и аристократическіе круги.

Но однажды они встрѣтились вечеромъ, въ садахъ Колорно близъ Пармы, съ самимъ инфантомъ и его женой. Madame de France, согласно этикету версальскаго двора, первая сдѣлала реверансъ Генріеттѣ. Одинъ изъ спутниковъ инфанта пристально на нее посмотрѣлъ. Подозвалъ къ себѣ случившагося тутъ же горбуна. Потомъ подошелъ къ Генріеттѣ, попросилъ извиненія у ея спутника, отвѣсилъ ей низкій поклонъ и спросилъ, не имѣлъ ли онъ уже чести встрѣчаться съ ней раньше?

Она отвѣтила отрицательно, онъ не настаивалъ.

Незнакомецъ, по объясненію горбуна, былъ интимнымъ другомъ инфанта и принадлежалъ къ одной изъ знатнѣйшихъ провансальскихъ фамилій.

Послѣ встрѣчи съ д'Антуаномъ (такова была фамилія провансальца) Генріетта проявила необычайную тревогу.

— Я въ самомъ дѣлѣ его не знаю, но возможно, что онъ меня гдѣ-нибудь видѣлъ...

Не оставить ли Парму? Можетъ быть, лучше уѣхать въ Геную, въ Венецію?

Но было уже поздно...

Г. д'Антуанъ черезъ итальянца передалъ запечатанный пакетъ Генріеттѣ. Генріетта съ видимымъ волненіемъ прочитала длинное посланіе.

— Не обижайся, мой другъ, что я не даю тебѣ этого письма — это мнѣ не позволяетъ сдѣлать честь двухъ семей. Я должна лично принять г. д'Антуана, — оказывается, онъ мой родственникъ...

Развязка приближалась — это было ясно обоимъ.

— Г. д'Антуанъ знаетъ мою исторію, знаетъ все... Это благородный человѣкъ, онъ ничего не сдѣлаетъ противъ моего желанія. Онъ хочетъ говорить со мной. Во Францію я вернусь лишь въ томъ случаѣ, если всѣ мои условія будутъ приняты. Если же нѣтъ — я пойду за тобой, куда захочешь и посвящу тебѣ мою жизнь. Но знай, что обстоятельства могутъ заставить меня съ тобой разстаться, и мы должны найти въ себѣ для этого силы. Пусть же совершится то, что должно.

Счастье ихъ клонилось къ закату. Порой часами оставались они наединѣ, безъ словъ... Оба плакали.

Страшное свиданіе Генріетты съ д'Антуаномъ длилось цѣлыхъ шесть часовъ! Онъ сидѣлъ въ сосѣдней комнатѣ и издали смотрѣлъ на нихъ черезъ открытую дверь, дѣлая видъ, что занятъ своими бумагами. Это были трудные для него часы... Они о чемъ то разговаривали, что то писали — онъ не слышалъ и старался не

вслушиваться.

Письмо, составленное Генриеттой и д'Антуаномъ, отослано; отвѣтъ на него придетъ лишь черезъ двѣ недѣли. На другой день они уѣхали въ Миланъ, гдѣ и провели эти грустные двѣ недѣли.

Въ Пармѣ, когда они вернулись, явился съ отвѣтнымъ письмомъ г. д'Антуанъ. Новое собесѣдованіе съ Генриеттой съ глазу на глазъ и, наконецъ, рѣшеніе. Какое?

Вмѣсто словъ — горячія слезы. Долгое молчаніе.

— Когда мы должны разстаться?

— Возьми себя въ руки, мой другъ. Мы доѣдемъ вмѣстѣ до Женевы. Найди мнѣ камеристку, и мы завтра же выѣдемъ. Въ Женевѣ мы разстанемся, и я съ ней поѣду дальше.

Можно было догадываться, но только догадываться... Молоденькая провансальская аристократка выдана замужъ противъ своего желанія. Но, своенравная, любящая свободу, она хочетъ разорвать путы. Вмѣшивается отецъ мужа, онъ рѣшаетъ расправиться со своевольной дѣвчонкой и везетъ ее въ монастырь, гдѣ ее будутъ держать взаперти, пока она не покорится, не признаетъ воли мужа. Но она не хочетъ уступить и пользуется первымъ случаемъ, чтобы избавиться отъ такой участи: бросается къ первому встрѣчному. Такимъ оказался старый венгерскій капитанъ, предложившій купить ее за десять цехиновъ...

Позоръ, стыдъ, безчестіе обрушились на обѣ семьи! Какъ скрыть это безчестіе? Бѣглянка найдена, но не сдается, — она ставитъ семьѣ какія то свои условія. Эти условія, очевидно, приняты... Честь будетъ сохранена, ей все должно быть принесено въ жертву.

До разлуки у нихъ еще нѣсколько дней впереди. Это цѣлое богатство, — всѣ эти дни будутъ отданы любви, одной любви!

Изъ Пармы они выѣхали поздно вечеромъ и ѣхали безъ остановокъ до Турина. Предстояло перебраться черезъ Альпы. Утромъ въ chaises a porteurs ихъ подняли на гору Сени (Mont Cenis), отсюда на саняхъ черезъ старинный монастырь въ снѣгахъ Новолеза они спустились въ Швейцарію. Только на пятый день добрались до Женевы, измученные не столько тяжелымъ путешествіемъ, сколько предстоящей разлукой. Въ Женевѣ остановились въ Hotel des Balances, place de Longemalle — на лѣвомъ аристократическомъ берегу, въ двухъ шагахъ отъ Quai de Mont-Blanc, откуда открывается видъ на всю цѣпь горъ и гдѣ теперь всегда играетъ го-

родской оркестръ; отелъ этотъ, кстати сказать, существуетъ и въ настоящее время.

По письму, которое Генріеттѣ еще въ Пармѣ передалъ г. д'Антуанъ, къ ней явился извѣстный женевскій банкиръ Троншенъ и вручилъ ей тысячу луидоровъ. Она приказала на завтра же приготовить ей лошадей. Все равно, скорѣй кончить эти муки!

Послѣдніе часы были особенно тяжелы. Они ни о чемъ не могли говорить, только плакали... Генріетта оказалась болѣе мужественной. Она не искала утѣшеній и не старалась обмануть ни себя, ни его: они разстались навсегда.

— Другъ мой единственный, другъ на всю жизнь, молю тебя — не старайся ничего узнавать обо мнѣ. Если же когда-нибудь тебѣ придется случайно со мной встрѣтиться, сдѣлай, молю тебя, видъ, что ты меня не знаешь.

Какъ примириться съ разлукой на всю жизнь; когда онъ былъ съ ней такъ счастливъ?.. Нѣтъ, этого нельзя понять, нельзя принять...

Генріетта обѣщала прислать письмо съ дороги. Выѣхала она на разсвѣтъ, съ лакеемъ на козлахъ экипажа и другимъ, ѣхавшимъ впереди верхомъ. Онъ слѣдилъ за экипажемъ, пока тотъ не скрылся изъ вида.

Вернувшись въ опустѣвшую комнату, онъ легъ въ постель и велѣлъ себя не тревожить.

На утро вернулся возница Генріетты и привезъ отъ нея письмо изъ Шатильона; въ письмѣ былъ листокъ бумаги съ однимъ только словомъ: «прощай!»

Передъ отъѣздомъ изъ Женевы онъ сдѣлалъ открытіе, которое пронзило его душу: на одномъ изъ оконныхъ стеколъ любимая рука написала алмазомъ:

«Ты забудешь и Генріетту».

Она написала это тайкомъ; зачѣмъ, что хотѣла она сказать словомъ «забыть»? Развѣ онъ забылъ ее? Развѣ не помнить о ней и теперь, черезъ много, много лѣтъ, когда голова его уже побѣлѣла и онъ съ волненіемъ записываетъ этотъ далекій свѣтъ своей жизни?

Въ Пармѣ онъ получилъ еще одно письмо отъ Генріетты. Это нѣжное письмо кончалось такъ:

«Не надо жаловаться на судьбу, мы пережили сладкій и длинный сонъ. Будемъ гордиться тѣмъ, что сумѣли сдѣлать другъ друга счастливыми въ теченіе цѣлыхъ трехъ мѣсяцевъ — кому изъ смертныхъ это было дано! Я не знаю, кто ты, но никто лучше меня тебя

не знаетъ. Никого въ жизни я не буду больше любить, но не хочу, чтобы ты слѣдовалъ моему примѣру. Хочу, чтобы ты любилъ еще, чтобы небо послало тебѣ другую Генріетту. Прощай, прощай».

Черезъ одиннадцать лѣтъ онъ снова очутился въ Женевѣ не только въ той же гостинницѣ Aux Balances, но и въ той же комнатѣ... И на оконномъ стеклѣ увидалъ сохранившуюся отъ того печальнаго дня надпись: — «Ты забудешь и Генріетту»... Онъ почувствовалъ, какъ волосы зашевелились у него на головѣ. Неужели онъ, въ самомъ дѣлѣ, забылъ ее? За эти годы думалъ ли онъ о ней? Не выпала ли она изъ его сознанія? Потрясенный, униженный, онъ упалъ въ кресло, закрывъ лицо руками. Все вдругъ встало передъ нимъ, какъ живое. Только одиннадцать лѣтъ — и какъ онъ измѣнился! Гдѣ былая живость, игра душевныхъ силъ? Онъ чувствовалъ себя усталымъ, огрубѣвшимъ и, главное — постарѣвшимъ. Одиннадцать лѣтъ!...

Всѣ послѣдующіе годы жизни его была полна приключеній. Онъ много путешествовалъ. Былъ нѣсколько разъ въ Парижѣ, ѣздилъ по Германіи, былъ въ Голландіи, въ Швейцаріи. Въ Фернсѣ видѣлся съ Вольтеромъ и повздорилъ съ нимъ, не сошедшись въ литературныхъ оцѣнкахъ; былъ у Руссо въ Монморанси, разговаривалъ въ Парижѣ съ Фонтенелемъ, д'Аламберомъ и Кребильономъ, былъ представленъ мадамъ де Помпадуръ въ Парижѣ, Фридриху Великому въ Сан-Суси. И всюду, во всѣхъ странствіяхъ по Европѣ — безчисленныя любовныя приключенія. Въ Венеціи святѣйшая инквизиція засадила его въ знаменитую свинцовую тюрьму — *riombi*, откуда онъ бѣжалъ съ дерзостью, которая удивила, восхитила всѣхъ, а его прославила...

Въ 1763 году, т. е. черезъ 14 лѣтъ послѣ встрѣчи съ Генріеттой и черезъ три года послѣ того, какъ вновь прочитанная надпись на стеклѣ воскресила возлюбленную въ его сознаніи, ѣхалъ онъ изъ Марселя въ Парижъ. Ѣхалъ, конечно, не одинъ, а съ очередной жертвой — молоденькой и пустышкой итальянкой Марколиной, годившейся ему, по правдѣ сказать, въ дочери.

За нѣсколько миль до Экса поломка экипажа заставила ихъ остановиться. Служитель, посланный искать деревенскаго кузнеца, вернулся въ сопровожденіи двухъ ливрейныхъ слугъ, которые передали путешественникамъ приглашеніе ихъ госпожи, графини, отдохнуть въ ея замкѣ, пока починяютъ экипажъ.

Чувствительный къ знакамъ вниманія, онъ принялъ приглашеніе. Къ нимъ вышли навстрѣчу три дамы и два

кавалера. Но въ тотъ самый моментъ, когда гость поднимался на крыльцо, съ графиней произошелъ странный случай: она бросилась догонять свою болонку, оступилась, повредила ногу и должна была немедленно лечь въ постель. Приняла она гостей только уже у себя въ комнатѣ, гдѣ было довольно темно. И лица ея онъ разсмотрѣть не могъ. Графиня много разговаривала съ Марколиной, но почему то избѣгала обращаться къ нему. Отъ слугъ онъ узналъ, что она вдова, — ея фамилія ему ничего не сказала.

На утро они уѣхали рано, и лично поблагодарить графиню за гостепріимство ему такъ и не удалось.

— Сколько на видъ лѣтъ графинѣ? — допытывалъ онъ Марколину дорогой.

— Уже за тридцать. А какъ она, должно быть, богата — смотри, какое кольцо она мнѣ подарила!

И Марколина показала осыпанное алмазами кольцо.

Въ Авиньонѣ Марколина вдругъ заявила:

— Теперь я могу исполнить порученіе графини. Вотъ письмо, она просила его тебѣ передать.

— Письмо? Мнѣ?

Нетерпѣливо разорвалъ конвертъ. Въ запискѣ — лишь одна фраза, по итальянски: «Самому честному человѣку, каковаго я встрѣчала въ жизни. Генріетта».

Генріетта! Такъ вотъ кто была Генріетта!

— Ты видѣла меня и ты не захотѣла меня у себя оставить! — закричалъ онъ со слезами. — Не захотѣла убѣдиться, что я не забылъ тебя, что я по прежнему тебя люблю! Какая жестокость!

Марколина смотрѣла на него съ удивленіемъ — что значать эти слезы, эти крики, эти неистовые жесты? Не сошелъ ли онъ вдругъ съ ума?...

Но то была не послѣдняя ихъ встрѣча.

Въ началѣ 1769 года онъ возвращался изъ Испаніи въ Италію. Ему было уже сорокъ четыре года, и бурная жизнь, которую онъ велъ, сказывалась. Порой бѣшеная натура его просыпалась, но это были только вспышки.

Снова онъ на благословенномъ югѣ Франціи. Въ Эксѣ весело отпраздновалъ карнавалъ, вспомнилъ утѣхи молодости... Но въ разгарѣ празднествъ и удовольствій вдругъ заболѣлъ. Болѣзнь была длинная и тяжелая. Вызванъ былъ даже священникъ со св. дарами. И странное дѣло: все время его болѣзни за нимъ ухаживала какая то незнакомая женщина. Она исчезла такъ же незамѣтно, какъ появилась, когда онъ сталъ

поправляться. Въ домѣ ее никто не зналъ. Разъясненіе онъ получилъ уже послѣ отъѣзда изъ Экса.

Во время карнавала въ Эксѣ онъ часто думалъ о Генріеттѣ. Теперь онъ зналъ ея настоящее имя и не терялъ надежды съ ней встрѣтиться. Выздоровѣвъ, написалъ ей письмо и самъ доставилъ его въ замокъ.

— Графиня получить ваше письмо вечеромъ.

— Значить, ея нѣтъ здѣсь?

— Графиня въ городѣ.

Неожиданно онъ увидѣлъ свою сидѣлку, которая за нимъ ухаживала во время болѣзни.

— Вы живете здѣсь? Кто прислалъ васъ ко мнѣ, когда я былъ боленъ?

— Моя госпожа. Развѣ вы не встрѣчались съ ней въ Эксѣ?

— Нѣтъ.

— Значить, вы не узнали ее. Бѣдная графиня такъ измѣнилась...

Онъ видѣлъ ее, встрѣчался съ ней, быть можетъ даже разговаривалъ и не узналъ ее! О, Генріетта! Что она должна была подумать? Онъ поспѣшно сѣлъ въ экипажъ, чтобы скрыть слезы.

У него не хватило духу разыскать ее въ Эксѣ. Ей теперь уже 39 лѣтъ. Воздушной, легкой, граціозной Генріеттѣ! Нѣтъ, нѣтъ — лучше, если онъ ограничится письмомъ. Она отвѣтила, между ними началась переписка. «Она рассказала мнѣ въ письмахъ — ихъ около сорока — свою жизнь. Если она умретъ раньше меня, я добавлю эти письма къ моимъ воспоминаніямъ», — пишетъ онъ уже глубокимъ старикомъ въ 1797 году (загодъ до своей смерти). Въ роли архивариуса, библіотекаря и... жалкаго приживальщика жилъ онъ теперь затеряннымъ среди богемскихъ лѣсовъ при графѣ Вальдштейнѣ, потомкѣ Валленштейна. Съ любовью записывалъ проказы своей юности и радости богатой приключеніями жизни. Революція еще продолжалась. Она охватила Парижъ, Францію, гремѣла на всю Европу, разрушила и разметала общество, среди котораго онъ блисталъ, весь дорогой ему міръ тонкаго изящества, фривольности, безпечности и легкомыслія. Проклятые якобинцы, преарѣнные санкюлоты! Cospetto! Они, кажется, сумѣли забраться даже въ замокъ графа Вальдштейна и здѣсь, въ Дуксѣ, отравляютъ ему на каждомъ шагѣ жизнь... За столомъ его обносятъ какъ разъ тѣми блюдами, которыя онъ любитъ, его почему то не представили важному гостю, посѣтившему замокъ, недавно дворецкій ему даже не поклонился... Надъ нимъ открыто смѣются,

— смѣются надъ его церемонными манерами, надъ его старомодными костюмами, надъ его большими пряжками на туфляхъ... А на дняхъ онъ нашелъ свой портретъ — онъ былъ убѣжденъ, что его похитилъ кто-нибудь изъ поклонниковъ — нашелъ свой портретъ въ общей уборной... Проклятье!

Воспоминанія — это все, что осталось у жалкаго старика. Онъ предавался имъ съ упоеніемъ — они позволяли ему вновь переживать утѣхи молодой жизни. Жизнь далеко не примѣрная: авантюристъ, игрокъ, мошенникъ, не останавливающійся ни передъ какимъ обманомъ, искавшій только наслажденій, загубившій безчисленное количество молодыхъ женщинъ, поступившій подъ конецъ своей жизни на службу къ той самой святѣйшей инквизиціи, которая въ дни юности засадила его въ тюрьму — обо всемъ повѣдалъ онъ въ своихъ мемуарахъ: они удивляютъ, главное, безжалостнымъ изображеніемъ самого себя. «*Quand je ne dors pas, je rêve, et quand je suis las de rêver, je broie du noir sur du papier, puis je lis et le plus souvent je rejette tout ce que ma plume a vomi... J'écris dans l'espoir que mon histoire ne verra jamais le grand jour de la publication*». Вѣроятно въ этихъ строкахъ онъ не рисовался. Вѣдь онъ писалъ, чтобы воскрешать бывшя радости и, можетъ быть, чувствуя горькую потребность заполнить чѣмъ то старческіе годы, жалкую догоравшую жизнь... Ему почти можно вѣрить, когда онъ горделиво записываетъ: «*La vérité est le seul Dieu que j'ai jamais adoré*». Если онъ писалъ для себя, зачѣмъ и кого ему было обманывать? Въ этомъ смыслѣ его воспоминанія — единственный въ своемъ родѣ литературный памятникъ. Эпизодъ съ Генріеттой кажется наиболѣе удивительнымъ: въ немъ знаменитый авантюристъ показалъ себя человѣкомъ. Пережитая любовь оказалась сильнѣе всего темнаго, что въ немъ было — она подняла его выше его самого. Это можетъ сдѣлать только любовь настоящая — она возможна была даже для такого человѣка.

1935.

В. ЗЕНЗИНОВЪ.

ПРОПИСИ.

Ю. ФЕЛЬЗЕН

«Въ наше время нельзя писать о чувствахъ, о «ней», о себѣ, о смыслѣ жизни, о міроощущеніи, о слишкомъ низкихъ или чересчуръ возвышенныхъ предметахъ» — такъ говорили во всѣ времена, но теперь на этомъ настаиваютъ особенно упорно и негодующе-страстно,

съ особымъ оттѣнкомъ праведной злобы. Возражать почти невозможно — на нашихъ глазахъ происходитъ чудовищная, «планетарная» борьба, въ которой нельзя оставаться нейтральнымъ и безразличнымъ. Выборъ долженъ быть сдѣланъ, писатель долженъ быть тамъ, гдѣ добро и справедливость, они явно, безспорно въ одномъ лагерѣ, въ другомъ ихъ не было и нѣтъ или они исчезли, уничтожены. Но писатель продолжаетъ твердить, упрямо и тупо «долбить» свое — о любви, о смерти, о мироощущеніи — какъ будто въ борьбѣ участвовать не хочетъ и презрительно къ ней равнодушенъ. Ея участники и всѣ, кому важенъ исходъ, кто надѣется, боится, все болѣе отчаивается, они, въ свою очередь, равнодушны къ писателю, и удивляться этому не надо. Но у него на ихъ упреки давнишній готовый отвѣтъ, не то скромный, не то заносчиво-гордый: «я не умѣю непосредственно бороться — мое дѣйствіе только въ созерцаніи, и оно, по сравненію въ вашими, на долгій срокъ и огромной взрывчатой силы, а защищаемъ мы одно и то же, человѣка и душу, единственное, чѣмъ я поглощенъ». До участниковъ борьбы не доходятъ эти слова, имъ кажется, у нихъ другая, конкретная, цѣль, другой, не столь туманный идеалъ — такой-то политическій строй, демократія, свобода. Писатель мало задумывается о «строѣ» (второстепенная, скучная деталь), онъ даже непрочъ помечтать объ утопическомъ равенствѣ, о національномъ реваншѣ, не предвидя, къ чему это можетъ привести. Лишь попавъ въ большевистско-фашистскую ловушку, утративъ право на творчество, онъ жалѣетъ, какъ никто, о погубленной свободѣ и о законахъ, ее охранявшихъ. Побѣжденный большевиками или фашистами, передъ тѣмъ свободный гражданинъ, приспособляясь къ новому порядку, стремясь прежде всего накормить себя и семью, то-есть вынужденный этому новому порядку служить, забывается о внезапно онѣмѣвшемъ творцѣ: ему не до книгъ, не до картинъ или музыки, онъ подъ угрозой голода, ареста, расстрѣла. Но оба — гражданинъ и писатель — въ одно и то же время теряютъ самое цѣнное для каждого изъ нихъ, правда, не замѣчая того, что теряетъ другой: съ исчезновеніемъ такого-то, второстепеннаго для писателя, строя умираютъ души, туманный идеалъ для рядового борца за этотъ строй.

Мы достаточно реальны и не вѣримъ, что писатель воспламенитъ, оживитъ души и что политикъ, депутатъ публицистъ пробудитъ въ художникѣ партійный энтузіазмъ. Значитъ ничего не надо мѣнять, взаимное

пониманіе, искренній союзъ недостижимы и все остается по старому? Конечно человѣческую основу передѣлать нельзя, но кое-какіе, для многихъ обязательные выводы изъ этихъ предпосылокъ возникаютъ. Едва ли не первый — осторожность, политическая, умственно-духовная. У писателя все же есть незамѣтное вліяніе, трибуна — газета, книга, журналъ, устный докладъ — и вотъ, выступая публично, онъ долженъ быть честнымъ, отвѣтственнымъ за свои выступленія, и насколько возможно, дальновиднымъ. Ему легко читателя и слушателя соблазнить тѣми смутными утопіями, которыя подрываютъ любой свободный режимъ, который для него поэтическая фантазія, игра, мимолетное сегодняшнее увлеченіе, но въ которыя неискушеннымъ людямъ хочется вѣрить: имъ не добраться до сложной и скрытой писательской глубины, однако обаяніе писательскаго имени возвышаетъ и очищаетъ давно имъ извѣстныя спорныя идеи. Сколько такихъ мальчиковъ и взрослыхъ, соблазненныхъ какой-нибудь случайной статьей, потомъ яростно борются за будущихъ насильниковъ, за тѣхъ, кто заставитъ лгать или молчать злосчастнаго автора статьи. Мы знаемъ «лѣвый грѣхъ» Андрэ Жида, оскорбительно, болѣзненно насъ поразившій — немало такихъ «лѣвыхъ» и «правыхъ грѣховъ» и въ Европѣ, и въ русской эмиграціи. Мнѣ кажется, именно писателю это не прощается: онъ долженъ, въ первую очередь, предъявить неумолимыя требованія къ самому себѣ, ограничить свою собственную свободу для спасенія свободы вообще, и долженъ сопротивляться не только открытымъ ея врагамъ, но и тѣмъ, кто ради позы или просто такъ, отъ легкомыслія, ее предають.

Второй выводъ — для сохраненія «режима свободы» необходимо, чтобы въ данной странѣ жизнь продолжалась, чтобы крестьяне пахали землю, рабочіе работали, инженеры строили, доктора лѣчили, правители управляли. Но есть и мозгъ страны, неуловимый «духъ народа», ирраціональныя усилія философовъ, ученыхъ, какихъ-то мечтателей, занятыхъ искусствомъ, то-есть тѣмъ-то почти всегда не актуальнымъ, далекимъ и чуждымъ всему, что происходитъ вокругъ — реформамъ, революціямъ, войнамъ. Лично художникъ еще порой на это реагируетъ — какъ обыватель или гражданинъ, — его искусство неизмѣнно о другомъ. Надо пристально всмотрѣться въ его произведенія, надо хотѣть ихъ полюбить, чтобы увидѣть неразрывную связь между ними и самой вульгарной злободневностью, связь, которая иногда обнаруживается лишь съ вѣками

и воздѣйствіе которой сказывается только въ вѣкахъ. Мы не знаемъ, создалъ ли Достоевскій, «*ame slave*» или «*ame slave*» создала Достоевскаго, нашелъ ли Шекспиръ среди англичанъ людей, ищущихъ справедливости и во всемъ сомнѣвающихся, или такіе англичане и не-англичане появились послѣ Шекспира. Но мы знаемъ, что какія-то человѣческія свойства, какія-то особенности человѣческихъ отношеній, мѣнявшія, ломавшія окружающій міръ, общественный порядокъ, исторію, стали навязчиво-четкими благодаря Платону, Шекспиру, Достоевскому, и что они своихъ героев не выдумали, а какъ бы невольно участвовали въ неуяснимомъ общемъ движеніи. Разумѣется, легко возразить, что среди писателей мало кандидатъ въ на роли Достоевскихъ и Шекспировъ. Однако и геніи «не падаютъ съ неба», они внутри искусства своей эпохи и — даже отъ него уходя — его питаютъ, имъ сами питаются, отъ него незамѣтно зависятъ и врядъ ли безъ него осуществляются. Для того, чтобы жизнь продолжалась, необходимо, чтобы продолжалось искусство, хотя бы творцы и не творцы одинаково считали, будто искусство отъ жизни оторвалось.

Все, что слѣдуетъ сказать о роли писателя въ нелѣпой и страшной нашей современности, вдвойнѣ примѣнимо къ литературѣ эмигрантской: эмиграція — жертва несвободы и, по своему первоначальному замыслу, какъ бы символъ борьбы за живого человѣка и невозможности примириться съ тѣми, кто его умерщвляютъ, ея литература должна съ удвоенной силой эту «идею эмиграціи» выразить, должна оживлять души, защищать человѣка и любовь, но она не идетъ по легкому пути непосредственныхъ обращеній, она состоитъ въ недоступно-холодной для многихъ области искусства, и вотъ эмиграція не хочетъ, не можетъ ее, свою литературу, понять и отъ нея раздраженно отталкивается. Зарубежный русскій писатель оказался въ такомъ одиночествѣ, какого себѣ не представляютъ его западно-европейскіе собратья, и близоруко въ этомъ обвиняетъ русскихъ рабочихъ, шоферовъ, безработныхъ. Трудно придумать болѣе трагическое недоразумѣніе и болѣе жестокою безвыходность. Чѣмъ бы ни кончилась борьба, побѣдой однихъ или другихъ или новой міровой всеразрушающей войной, при нашей жизни ошибка не выяснится и правда не откроется — что рабочій и шоферъ продолжаютъ сопротивляться большевистскому гнету, какъ бы ни искажались при этомъ положительныя ихъ цѣли, и что писатель, то лучше, то хуже,

но упрямо выполнять единственное свое назначеніе. Неподдержанный ближайшимъ окруженіемъ, обреченный на бѣдность и неизвѣстность, эмигрантскій писатель для свроейской публики, для своихъ англо-французскихъ «конферровъ», даже и не писатель: онъ — диллтанствующій, печатающійся въ какихъ-то безтиражныхъ журналчикахъ рабочій, шоферъ, безработный. Ни до кого, ни въ Европѣ, ни въ Россіи, не доходить его голосъ, его искусство и темы, и то неизбѣжное соревнованіе идей и самолюбій, которое какъ-то продолжается въ наглухо замкнутой эмигрантской литературной средѣ.

Любопытная подробность — въ ней сравнились и все неподдѣльно-значительное, и все паразитически-ничтожное: ихъ уравнило общее несчастье. Въ атмосферѣ гибели, разгрома невольно исчезаютъ качественныя различія, всѣхъ одинаково жаль, никого не выдѣляешь. Кое-кто выгадалъ, незаслуженно оказался въ мученической роли. Вѣроятно истиннымъ художникамъ, платящимся жизнью за искусство, невыносима обязательная солидарность, братство, сосѣдство людей легкаго труда, короткой мысли, украденныхъ достижений. Изъ-за всего этого еще уменьшается сочувствіе къ тому, что сочувствія достойно.

Почти невозможно обратиться къ эмигрантскимъ писателямъ съ призывомъ, съ какимъ нужно обратиться ко всѣмъ другимъ свободнымъ писателямъ: «господа, дѣлайте свое дѣло, остальное приложится». Бодрящія слова звучать безконечно фальшиво. Очень страшно, что за двадцать лѣтъ никто не сказалъ: «господа, какъ вамъ ни тяжело, какъ это ни удивительно, вы дѣлаете свое дѣло». Такое единодушное зловѣщее молчаніе должно кого-угодно смутить. И все же, черезъ сомнѣнія, бевъ поощреній, писатель пишетъ. Если не всѣ графоманы, значить судьба, дѣйствительность мудрѣе любыхъ бодрящихъ совѣтовъ.

Писатель (и не только эмигрантскій) пишетъ, но трезво знаетъ, что его живое искусство пока не побѣдило, что оно, какъ и все въ мірѣ творчески-живое, на волосокъ отъ пораженія, которое не въ его силахъ предотвратить. Онъ также знаетъ, что бездѣйствовать нельзя.

Ю. ФЕЛЬЗЕНЪ

ВЪ ПОСЛѢДНЮЮ МИНУТУ

Подчиняясь внутреннему закону свободы, пишу отъ перваго лица. Свобода — сестра одиночества. Поэтому, всѣ утвержденія замыкаются въ личномъ опытѣ, всѣ отрицанія въ личной судьбѣ.

Все же «я» здѣсь не то, замѣняющее имя (на англійскомъ языкѣ прописное «I»), а какъ бы собирательное. За всѣхъ близко-думающихъ, часто не любимыхъ, незнакомыхъ, — къ тѣмъ любимымъ и понятнымъ, нерѣдко думающимъ иначе... не за это ли «иначе» любимымъ?

Съ перваго слова, съ первой полу-мысли — смущеніе, столкновеніе совѣсти и чувства. Любовь къ врагу: любовь — предпочтеніе, любовь — нѣжность, и равнодушіе (если не раздраженіе) къ союзнику. Вниманіе безкорыстно-щедрое къ избраннымъ — нетерпѣніе къ достойнымъ и неблагодарность къ тѣмъ, кто полюбилъ лучшее во мнѣ.

Совѣсть (которую, почти физически ощущаю въ груди, надъ сердцемъ) ошибиться не можетъ. Значить, ошибается чувство. Возможно, конечно, совпаденіе выбора сердца, воли, совѣсти, разума. Подобный опытъ, если даже единичный и случайный, — «безсмертья можетъ быть залогъ». Онъ, какъ звѣзда ведетъ, не освѣщая пути. Какъ все, что совершенно, онъ только подчеркиваетъ условность остального.

(Есть разстояніе, но нѣтъ противорѣчія между «идеаломъ» и дѣйствительностью, которая тянется къ нему и стыдливо отъ него прячется въ бѣдности своей и порокѣ...).

Вдохновеніе: любви, творчества, вѣры, выводитъ изъ одиночества. Но здѣсь кончается и свобода. Она приносится въ даръ чему-то, или кому-то (въ залогъ вѣрности, въ знакъ благодарности, за прерванный монологъ, за возможность разговора, творчества, молитвы...).

Власть надъ вдохновеніемъ — одно изъ опредѣлений таланта. Не мысль вызывающая слово, не чувство подсказывающее дѣйствіе — а наоборотъ. Ложь доведенная до предѣла, возвращенная къ своему источнику магически превращается въ правду (художественную).

Словесная стихія, какъ водная. Нужно покориться ей для того, чтобы потомъ подчинить себѣ. Довѣряя водѣ, тѣло держится на поверхности и плыветъ, движенія его слѣдуютъ ритму. Мысль тоже должна быть до-

вѣрчива и ритмична. (По Розанову — «музыкальна», чтобы быть достойной выраженія).

Но въ сознаниі (доно мысли), которое въ чемъ то совпадаетъ съ совѣстью (этимологическій корень тотъ же) нѣтъ ни слова, ни даже звука. Скорѣе что-то похожее на неровно и тяжело бьющійся пульсъ, то учащенный, то медленный.

Не все находить свое «музыкальное» выраженіе. И едва ли только лучшее. По праву, по справедливости, должно было бы быть услышаннымъ и то, что внѣ музыки. «По совѣсти», которая какъ то музыкѣ противоположна.

Революція, напримѣръ, очищенная отъ жертвенности, романтизма, горя и героизма, революція сама по себѣ, не «звучитъ». Не потому ли, что «свобода, равенство и братство» — эмблемы міровой совѣсти анти-музыкальны?

Но революція права. Права земная совѣсть. Что же дѣлать съ музыкой?...

«... звуковъ небесъ замѣнить не могли ей скучныя пѣсни земли». Но и они, эти «скучныя пѣсни» незамѣнимы. И пѣсня о совѣсти, самая земная, самая скучная изъ нихъ продолжаетъ звучать независимо, непривѣтливо и неотразимо. (Не такъ ли звучитъ поэзія Некрасова?). Значитъ, совѣсть одна изъ музъ, и какъ обнадеживающе-безутѣшно такое пѣснопѣнье!

Я не умѣю ее опредѣлить, но она стала для меня привычнымъ «общимъ знаменателемъ», къ которому можно свести все. Задача этимъ далеко не рѣшена, но не случайно же она невольно становится темой всего о чемъ не лѣнливо и не мечтательно думаю.

Мнѣ не очень нравится ся имя — «совѣсть» Но оно какъ магнитъ, притягиваетъ разрозненныя впечатлѣнія, обрывки безпредметныхъ желаній, безцѣльныхъ стремленій, ясныя, но, какъ въ бреду, ничѣмъ не связанная между собой мысли.

У меня нѣтъ формулы для нея въ дѣйственной жизни. Но я знаю, что какъ на туманной, испорченной сильнымъ свѣтомъ фотографической пластинкѣ, на ней отпечатаны всѣ жизненные завѣты.

Отъ предметовъ, понятій, голосовъ тянутся невидимыя электрическіе провода — по нимъ, при желаніи, можно пустить ту энергію, природа которой неизвѣстна мнѣ, но которая, какъ электрическая, можетъ привести въ движеніе и освѣтить все (по иному и внѣ обычныхъ законовъ механики и свѣта).

Въ комнатѣ утро. За окномъ вымытый, бодрый, будничный городъ. Радио дуэтомъ передаетъ цыганскій романсъ «двѣ гитары за стѣной...» и рекламы дамскихъ (уже весеннихъ) модъ.

На столѣ новый романъ. Героиня любитъ и умираетъ любя (несчастный случай или самоубійство?). Газета: фоторграфія убійцы, разоблаченнаго полиціей, на первой страницѣ, скрыто-тревожныя вѣсти на второй. Въ памяти лоскутки какого то добраго сна, смѣшныя съ отрывками изъ вчера видѣнной пьесы совѣтскаго автора, и обычныя, неуютно-практическія, догадки о томъ, что дѣлать дальше...

Холодно... все это замѣчается непосредственно тѣломъ, разсудкомъ. Убѣдительно и хаотично. Но стоитъ повернуть «выключатель» и все освѣщается по новому, строгимъ, грустнымъ, вѣрнымъ свѣтомъ.

Площадь за окномъ, мило-похожая на провинціальную, модныя платья, цыганское «милый это — ты-ли?» — уже не «пошлость» жизни, а ся біологія, отъ которой нельзя оторваться, которую надо нести въ себѣ. «Нельзя», «надо» — слова диктуемая совѣстью. Книга убѣждаетъ въ частномъ случаѣ, потому что правдива «вообще», (и въ нѣй слышна далекая тема возмездія). Убійцу навѣрно казнятъ. Законно — и глубоко несправедливо, какъ всегда смертная казнь. Газетныя сообщенія напоминаютъ сентябрь.... почти физическая тревога, отѣненная спокойной, какой-то смиренной осенью. Слабость и ясность въ головахъ (какъ отъ болѣзни). Противорѣчивыя, смущенныя чувства. Стертыя понятія, индивидуально обновленныя, различныя и похожія другъ-на друга. Нестройные разговоры, приведшіе къ мысли о непротивленіи злу. Задумчивость о природѣ зла... смутное предположеніе, что его въ положительномъ смыслѣ вовсе нѣтъ, что «оно» отсутствіе или искаженіе добра. Во всемъ этомъ стойкая неспособность принять что-нибудь до конца. Догадка, что судить совѣстью можно только себя, — другихъ судятъ сердце и умъ. Совѣсть только жалѣетъ.

Слѣдя за совѣтской пьесой чувствовала (узнавая въ себѣ это чувство), какъ тянетъ «туда». Словно на улицу изъ комнаты. Не къ свѣжему, бодрому воздуху, а въ уличную толпу, гдѣ, сливаясь со всѣми, легче нести свою одинокую «неповторимую» личность. Родина эта та страна гдѣ — рядомъ живутъ старыя и молодыя, гдѣ наглядна непрерывность жизни, преемственность дѣла, — отсюда серьезность и осмысленность собствен-

наго участія.

Совѣтскій «коллективъ» — это все таки грубое изданіе того же ученія о братской любви. Такой трудной, такой ничего-не-замѣняющей, такой человѣческой (не человѣчной)...

Но — опять поворачивается выключатель... и пошлость снова становится пошлостью, которую принимаю только потому что она пріятна мнѣ. Романъ убѣдителенъ потому что писалъ его талантливый человѣкъ. Героиня его умираетъ отъ своего личнаго горя любви, а не отъ ужаса передъ вѣчнымъ, всюду разлитымъ, любовнымъ неравенствомъ.

«Совѣсть» звучитъ фальшиво въ примѣненіи къ убійству съ цѣлью грабежа. Не такъ называютъ ее республиканцы въ Испаніи, не помнятъ и не вѣрятъ въ нее германскіе евреи.... и, кажется несомнѣннымъ, что совѣтская Россія предала ее какъ основное въ исторіи русской духовности, въ традиціи русской культуры... Какое-же отношеніе имѣетъ «она» къ жизни цѣльной и противорѣчивой, жестокой и убѣдительною? (Страданіе и страхъ. Преданность и предательство. Красота, которая «спасетъ міръ», но стремленіе осуществить которую влечетъ за собой гибель? Страсть и безразличіе. И наконецъ крикъ радости и боли, въ которомъ чужой волей рождается человѣкъ — и завистливо осуждающее молчаніе, которымъ провозжаютъ его, уходящаго по своей волѣ...). Никакого, какъ будто. И все-таки, въ этомъ мірѣ, который есть, существуетъ память, мечта, знаніе, о томъ, который долженъ быть. И какъ бы для провѣрки этого знанія — аппаратъ совѣсти, условный и точный какъ хронометръ.

Вечеръ въ кафе. Темпъ мысли мѣняется отъ разсѣянности (голоса, лица) и усталости. (Утомляетъ «опытъ свободы» — условіе этой записи).

Какъ многіе, я привыкла думать только «по поводу» — какъ бы въ порядкѣ жизненной необходимости. Думая, для себя, привыкла обращаться къ кому то съ неяснымъ ожиданіемъ личнаго отвѣта. Но «свободно и одиноко», значить обо всемъ, ко всемъ, (или къ никому). Не выбирая, не поддаваясь наркотическому дѣйствию слова — тихо, сухо, и даже торопливо.

Здѣсь, а ргоров, нѣсколько словъ въ поясненіе названія.

«Послѣдняя минута» не та, послѣ которой конецъ или перемѣна. Это — любая минута, въ которую можно

остановить работу мысли и составить «инвентарь» того, что уже есть собственность сознания.

Зачѣмъ это нужно? Вовсе не нужно, вѣроятно, но всегда можетъ понадобиться и всегда покажется, что еще рано...

Такъ иногда въ разсѣянной задумчивости, при двойномъ, сумеречномъ свѣтѣ, вдругъ начинаешь перебирать, зачѣмъ то сохранившіяся письма, перелистывать старыя книги, пересматривать фотографіи, перечитывать дневники... только для того, чтобы оныя сложить все въ сундукъ или корзину на чердакъ и утомившись вернуться къ жизни, въ которой ничего, собственно, не собираешься мѣнять.

Эта запись — одно изъ такихъ «путешествій на чердакъ». Какъ всегда случайно, и какъ всегда на «всякій случай».

Случаевъ возможно только два: любви или смерти, (иногда это произносится: счастья или истины).

«Чего Вы ищете, истины или счастья?» (изъ недавняго разговора). Думаю, что какъ всѣ и того и другого. Въ разное время, разнымъ въ себѣ. Линіи этихъ стремленій не параллельны, но перпендикулярны и завязаны узлами, какъ нити сѣти. Поэтому такъ, медленно и осторожно продвиженіе, — съ памятью о другомъ направленіи.

Объ «истинѣ» знаю только то, что она не всегда похожа на «правду». Лично сталкивалась съ ней всегда неожиданно, и всегда на дорогѣ къ счастью (чаще на обратномъ пути...).

«Счастье» опредѣляю отрицательно, какъ «неодиночество» — въ поискахъ истины. Когда слышалось въ чужомъ, тайно-дорогое мнѣ, или когда мой собственный голосъ, углубленный, усиленный поддержкой, какъ эхо возвращался ко мнѣ...

О «любви» догадываюсь, что она «одна, какъ смерть одна». (И въ томъ и другомъ чудо рожденія, единственный, еле уловимый, едва понятный моментъ, связывающій съ жизнью. Звено въ не возстановленной цѣпи...).

Знаю, что въ психологическомъ «разрѣзѣ» — она жестока, эгоистична и несправедлива — въ замкнутости «я-ты-я». Двѣ пары глазъ, какъ зеркала безконечно отражающее другъ-друга. И все-же въ нихъ, въ этомъ взаимномъ отраженіи — весь міръ, во всемъ его сложномъ богатствѣ.

Но психологія неинтересна. Замѣчаю, что мой чердакъ заваленъ безчисленными психологическими наблюденіями, выводами, цитатами изъ своего или чу-

жого опыта... Когда то я гордилась ими (какъ въ дѣтствѣ тетрадами съ правильно рѣшенными задачами по арифметикѣ).

Психологія незначительна — касательная къ окружающей любви, не можетъ привести къ центру.

Такъ же всѣхъ вещей и несущественна физиологія любви. Трудно повѣрить, что «она» — та счастливая, коротенькая спазма въ которой создано все живое и къ которой все живое стремится.

Ничего не зная о послѣднемъ, отрицаю право на убійство, даже законное (война, смертная казнь, дуэль) и сочувственно оправдываю приговорившаго себя самого.

Трудно кроить изъ этой легко-рвущейся матеріи (полу-мысли, полу-впечатлѣнія, почти только словесныя ассоціаціи). Привычнѣ было кутаться въ нее какъ въ платокъ. Замѣчаю также, что въ эти «одежды» нельзя облечь мою личную судьбу. Къ чему-же они теперь пригодны?

Мое «я» живетъ, какъ мышь въ углу, въ архивѣ «человѣческихъ документовъ», не имѣющихъ ко мнѣ отношенія. Не знаю даже, чѣмъ она питается. На чердакѣ все давно не съѣдобно, даже для такого жалкаго авѣрька. Быть можетъ, мышь голодаетъ? или добываетъ пищу извнѣ, а здѣсь только живетъ, потому что привычно, уютно, хотя холодно и очень пыльно?...

«Очень пыльно», громко повторилъ гарсонъ, проведя тряпкой по сосѣднему столу.

Стало весело. Чѣмъ то напомнило кинематографъ. Захотѣлось пойти туда, гдѣ на экранѣ странно-успокаивающая, искаженно-прекрасная жизнь. Захотѣлось вызвать знакомый номеръ по телефону и сказать: «Не вѣрь моимъ словамъ, не вѣрь этимъ, моимъ мыслямъ. Вѣрь только тому, что я забываю, тоскую, предаю и жду...» Захотѣлось уѣхать на югъ. Купить чемоданъ изъ свѣтлой кожи — (символъ богатства). Захотѣлось чудесной власти денегъ, чудесной покорности деньгамъ.

Деньги любить всѣ, кто любить жизнь. Мистику денегъ чувствуютъ многіе. Но правильный тонъ (неуловимо-элегантная манера въ обращеніи съ деньгами, ничего общаго не имѣющая со щедростью) свойственъ только тѣмъ, для кого они не «собственность» а средство, случайно попавшее въ руки — у нихъ поведение просто, сдержанно и застѣнчиво (какъ-то «совѣстливо»).

На этомъ примѣрѣ вспоминаю всѣ возраженія, которыя приходилось слышать и уважать: «цѣнно толь-

ко то, что непосредственно, а не то, что вызвано *чувством долга*. Но вѣдь оно, это, «чувство долга» т. е. чувство совѣсти, единственное связываетъ людей... безрадостно и безсрочно. Міръ, построенный, на радости личнаго вдохновенія, въ тоскѣ по личной любви, въ надеждѣ на личное безсмертіе — что стало съ этимъ міромъ?

Но — искусство? Невозможное безъ вдохновенія, «святое искусство»? Оно прежде всего серьезно — это искусство. Вдохновенное серьезностью, оно прислушивается, предчувствуетъ, приближаетъ тему каждаго новаго дня.

Настоящее искусство современно, и этимъ вѣчно. Не такими ли сегодня кажутся строки:

«Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви...»

Совѣсть тоже бываетъ геніальной...

Трудно сказать, въ чемъ тема нашего дня. Но «тональность» его сурова.

А нѣжность? Она не исчезла изъ міра, но какъ влага испарилась съ поверхности земли. Быть-можетъ, для того, чтобы пролиться когда-нибудь новымъ дождемъ...

Испарилась вся — вода, слезы, роса. Начинается засуха. Отъ засухи повсюду вспыхиваютъ пожары. Становится трудно дышать...

Свѣтасть. Въ этотъ часъ мнѣ всегда кажется, что ко мнѣ возвращается душа, которая съ заката до разсвѣта скитается въ поискахъ чего-то. Гдѣ только она не побывала, чего не просила у близкихъ и далекихъ. Она уже похожа на старушку съ обвѣтреннымъ лицомъ. А на днѣ сумы у нея, среди кучи мѣляковъ и всякой рухляди, тяжелая, потускнѣвшая золотая монета. Въ тысячный разъ разглядываю стертую надпись, одно слово: «вѣрность» или «вѣчность». Нельзя разоб-
рать — и не все-ли равно?

ЛИДІЯ ЧЕРВИНСКАЯ

ЧЕЛОВѢКЪ И НАШИ ДНИ.

В. ЗЛОВИН

Годъ тому назадъ, въ Парижѣ, вышла книга Георгія Иванова «Распадъ атома». Книга очень современная, и для насъ, людей тридцатыхъ годовъ нашего вѣка, безконечно важная. Но съ ней произошло то же, что съ большинствомъ, въ эмиграціи рожденныхъ, книгъ. О ней немного поговорили, посвятили ей одно изъ засѣданій «Зеленой Лампы», а затѣмъ она, даже не вызвавъ скандала (— спасительнаго, на что была, вначалѣ, нѣкоторая надежда), провалилась въ пустоту, куда неизмѣнно проваливается все, что такъ или иначе связано съ Россіей, а, можетъ, и вообще съ человѣчествомъ. Но мнѣ къ этой книгѣ хотѣлось бы вернуться. Хотѣлось бы выяснитъ, пока мы еще не совершенно захлебнулись пустотой, почему возбудила эта книга, если не у всѣхъ, то у большинства, такой ужасъ и отвращеніе. Въ чемъ собственно дѣло?

Неприличія, на которыя Георгій Ивановъ не поскучился? Нѣтъ, конечно. Дѣло не въ нихъ. Каждый, кто гуляетъ по Парижу, можетъ, если онъ только не ослѣпленъ окончательно своимъ совершенствомъ, наблюдать сцены вродѣ тѣхъ, что изображаетъ въ своей книгѣ Георгій Ивановъ. Этимъ сейчасъ не смутить никого.

Посягательство на тайныя мечты? Это серьезно. Душа человѣка — священна. Неприкосновенность полная, абсолютная свобода. «Скажи мнѣ, о чемъ ты мечтаешь тайнѣ». Нѣтъ, не скажу. Мало ли о чемъ я тайнѣ мечтаю! Можетъ, объ отцеубійствѣ. Или у меня «эдиповъ комплексъ» и я мечтаю... Словомъ, это никого не касается, и судить обо мнѣ по моимъ тайнымъ мечтамъ не въ правѣ никто. Вотъ, когда убью, тогда судите. А вдругъ, не убью. Вдругъ душу свою положу, и не «за други своя», а за послѣдняго мерзавца — за Вейдмана, за «диуссельдорфскаго вампира», за кого хочю. И тѣ, кто заготовили для меня наручники или смертельную рубаху, окажутся въ дуракахъ.

И все же сорвать покровъ съ человѣческой души въ иныхъ случаяхъ надо, поступившись всѣми ея священными правами. Не потому, что она безъ посторонней помощи не можетъ справиться съ одолѣвшими ее смертельными мечтами —

«О, какъ паду я горестно и низко,

Не одолѣвъ смертельныя мечты» —

знать этого нельзя до послѣдней минуты. Но хотя бы для того, чтобы стала, наконецъ, явной та «неземная

добродѣтель», которую не прошибешь ничѣмъ и на которой, какъ на благодарной почвѣ, всходитъ пышнымъ цвѣтомъ «міровое уродство». Міръ погибаетъ не только отъ злодѣевъ, но и отъ *праведниковъ*. Этого сегоднѣшніе идеалисты всѣхъ толковъ Георгію Иванову не забудутъ. Но это лишь одна изъ причинъ — не главная — почему книга его попадаетъ подъ индексъ.

А главная — вотъ: Георгій Ивановъ пытается соединить человѣка, Бога и полъ. Удастся ему это или нѣтъ — вопросъ другой. Но уже одного намека на возможность соединенія достаточно, чтобы всѣмъ стало не по себѣ. Почему?

«Міровое уродство», которое Георгія Иванова, какъ иѣкій дурной запахъ, преслѣдуетъ повсюду, держится на *раздѣленіи* человѣка, Бога и пола. Безличный, человѣка унижающій, полъ; окаменѣвшая въ своемъ безполомъ совершенствѣ личность и — анонимный абсолютъ, похожій скорѣе на дьявола, чѣмъ на Бога — три формы этого уродства, міръ человѣческій искажающаго, какъ отраженіе въ кривомъ зеркалѣ. Но если бы удалось, наконецъ, человѣка, Бога и полъ соединить такъ, чтобы и человѣкъ былъ цѣлъ и полъ-святъ, «міровое уродство» пошатнулось бы въ своемъ основаніи. Вотъ почему вызываетъ книга Георгія Иванова у «цѣтей вѣка сего» такой ужасъ и отвращеніе.

Ну, а Розановъ? Вѣдь и онъ, кажется, пытался... Да, да, да. Но какъ разъ изъ розановской комбинаціи не вышло ничего. «Міровое уродство» не дрогнуло. Полъ съ Богомъ онъ — правда — соединилъ, но за счетъ личности, подмѣнивъ ее родовымъ началомъ. И не потому ли такъ легко прощаются Розанову и его кощунство, и его бунтъ, и всѣ его неприличія, что воля его къ безличности встрѣчаетъ ту же волю вездѣ — въ бракѣ, въ семьѣ, въ государствѣ, въ церкви? Противъ чего бы Розановъ ни бунтовалъ, какія бы ни подрывалъ основы, въ конечномъ счетѣ, онъ утверждаетъ существующій порядокъ. Авторъ «Темнаго Лика», книги пытавшейся взорвать христіанство, умираетъ въ Троицко-Сергіевской Лаврѣ, на рукахъ о. Флоренскаго, подъ шапочкой св. Сергія, какъ вѣрный сынъ православной церкви. Это не случайно. Розановъ одно изъ интереснѣйшихъ явленій неудавшейся духовной революціи. Но человѣку современному, человѣку тридцатыхъ годовъ нашего вѣка, знающаго о личности что-то, чего дореволюціонный человѣкъ не зналъ, въ розановскомъ мірѣ, гдѣ пахнутъ пеленками и дурной безконечностью, дѣлать нечего. Съ Богомъ или противъ Бога, но утвержденіе человѣче-

ской личности во всей ея полнотѣ. Съ Богомъ или противъ Бога, но совершенная свобода съ правомъ даже погубить себя и міръ. Георгій Ивановъ вѣрно почуялъ, что только съ Богомъ. Однако найти Его не просто.

«Versinke denn, ich konnt' auch sagen steige's ist einerlei...»

Опустись же, я могъ бы сказать взвейся. Это все равно...

Георгій Ивановъ выбралъ эти слова Гете эпиграфомъ къ своей книгѣ неслучайно. Я изъ любопытства спрашивалъ у тѣхъ, кому книга казалась значительной, какое отношеніе имѣетъ этотъ эпиграфъ къ ея содержанію. Мнѣ неизмѣнно отвѣчали: никакого. Между тѣмъ, онъ связанъ съ самымъ въ ней важнымъ. Раскройте ее на страницъ 77-ой, вы прочтете:

«Наши одинокія, разныя, глухонѣмныя души — почуяли общую дѣль и — штопоромъ, штопоромъ — сквозь видимость и поверхность — заворачиваются къ ней. Ваши отвратительныя, несчастныя, одинокія души соединились въ одну и штопоромъ, штопоромъ, сквозь міровое уродство, какъ умѣютъ, продираются къ Богу?»

Какія странныя слова! Что они значатъ въ переводѣ на практическій языкъ?

Не знаю, отдаетъ ли себѣ самъ Георгій Ивановъ отчетъ въ религиозно-общественномъ значеніи своей книги. Какъ будто нѣтъ. Но оно несомнѣнно. Книга Георгія Иванова имѣетъ прямое отношеніе къ одному изъ самыхъ серьезныхъ человѣческихъ дѣлъ на землѣ. Я говорю о построеніи «Civitas Dei» — слово бл. Августина. Нарочно пользуюсь, какъ въ медицинѣ, латинскимъ терминомъ, дабы сказавъ «Градъ Божій», «Царство Божіе на землѣ», не пріобрѣсти нежелательнаго союзника въ лицѣ христіанскаго идеализма (журналъ «Путь», «Новый Градъ», Религиозно-философская академія и пр.). Проглядѣвъ современнаго человѣка, не понявъ ни его правды, ни его соблазновъ, этотъ идеализмъ утверждаетъ, какъ утверждалъ всегда, вѣчную двойственность правды человѣческой и правды Божіей и Царство Божіе *на землѣ* считаетъ, хотя и не признается въ этомъ открыто, ересью величайшей. Намъ съ нимъ не по пути.

«Civitas Dei» — Градъ Божій — зиждется, какъ и всякое зданіе, на невидимомъ, подземномъ фундаментѣ. Это — общее мѣсто. Но мы теперь догадываемся, на какой глубинѣ этотъ фундаментъ долженъ быть заложенъ. Мы догадываемся, что если онъ будетъ заложенъ не на

глубинѣ той «безднѣ», какая — неслучайно — разверзлась въ душѣ современнаго человѣка, зданіе взлетитъ на воздухъ, какъ бы ни было оно прочно построено.

Но опять таки, что это значитъ въ переводѣ на практическій языкъ? Какъ заложить прочное основаніе Града Божія на глубинѣ ада, ибо рѣчь именно объ этомъ, — безъ предварительной надъ нимъ побѣды? Но такого вопроса у Георгія Иванова даже не возникаетъ. Общее направленіе онъ угадываетъ вѣрно, чувствуетъ — тоже вѣрно, — что проблема пола находится свое разрѣшеніе въ личной любви, т. е. что это проблема религиозная. Но что Богъ и полъ — величины несоизмѣримыя — этого онъ не сознаетъ и, ставя между ними знакъ равенства, дѣлаетъ изъ пола какъ бы нѣкій абсолютъ, который человѣка сѣдаетъ безъ остатка, вмѣстѣ съ его любовью. У Розанова остается хоть что-то — родъ, дурная безконечность исторіи. У Георгія Иванова — ничего. Конецъ личности — конецъ нашего человѣческаго міра.

Но не этого ли, въ сущности, и хочетъ Георгій Ивановъ, стремясь, всѣми силами, разложить атомъ человѣческой личности? Съ ея исчезновеніемъ адъ превращается въ «рай» и уже здѣсь, на землѣ, наступаетъ вѣчное блаженство — блаженство небытія.

Герой книги Георгія Иванова кончаетъ самоубійствомъ. Конецъ вполне естественный: личность человѣческая — недѣлима, и смерть духовная неизбежно влечетъ за собой физическую. Но, при желаніи, можно ее ускорить, что герой Георгія Иванова и дѣлаетъ, пуская себя пулю въ лобъ.

Какъ избѣжать смерти духовной, спасти человѣка и человѣчество отъ окончательнаго впаденія въ умственное и нравственное ничтожество — въ этомъ сейчасъ вся практическая трудность дѣла, служить которому современный человѣкъ призванъ. Если онъ не всегда на высотѣ положенія, то, можетъ быть, не только по своей винѣ. Въ дѣлѣ, какому онъ служить, правду отъ лжи отдѣляетъ — волосокъ.

«Все, что у васъ есть — есть и у насъ», говоритъ чортъ Ивану Карамазову, открывая тайну загробнаго міра. Тотъ же чортъ могъ бы, говоря о любви, сказать: «Все, что у насъ есть — есть и у васъ». Однако, тайну любви онъ не открылъ бы, какъ не открылъ и тайну загробнаго міра. «Все, что у васъ есть — есть и у насъ», можно бы ему отвѣтить, но только въ иной категоріи. Волосокъ, отдѣляющій категорію любви личной отъ безличнаго полового акта — это ея единственность и

неповторимость, пропуска какъ единственна и неповторима сама человѣческая личность. Разница какъ будто невелика, но на этомъ волосѣ держится міръ, и если волосокъ оборвется, все дѣйствительно полетитъ къ чорту.

Да, все дѣло въ категоріи. И въ мѣрѣ. Но мѣра вещей божественная, вѣрнѣе, богочеловѣческая, дается не сразу. И кто не былъ влюбленъ въ безмѣрность, не найдетъ ее никогда.

«Широкъ человѣкъ, я бы съузилъ», говоритъ о человѣкѣ Достоевскій. О человѣкѣ современномъ этого не скажешь. Онъ, кажется, достигъ предѣльной узости во всемъ — въ политикѣ, въ религіи, въ революціи, только въ «любви» безмѣренъ. Человѣчество еще не родилось. И не праздное ли занятіе мечтать сейчасъ о богочеловѣчествѣ, когда каждый — одинъ, въ своемъ аду?

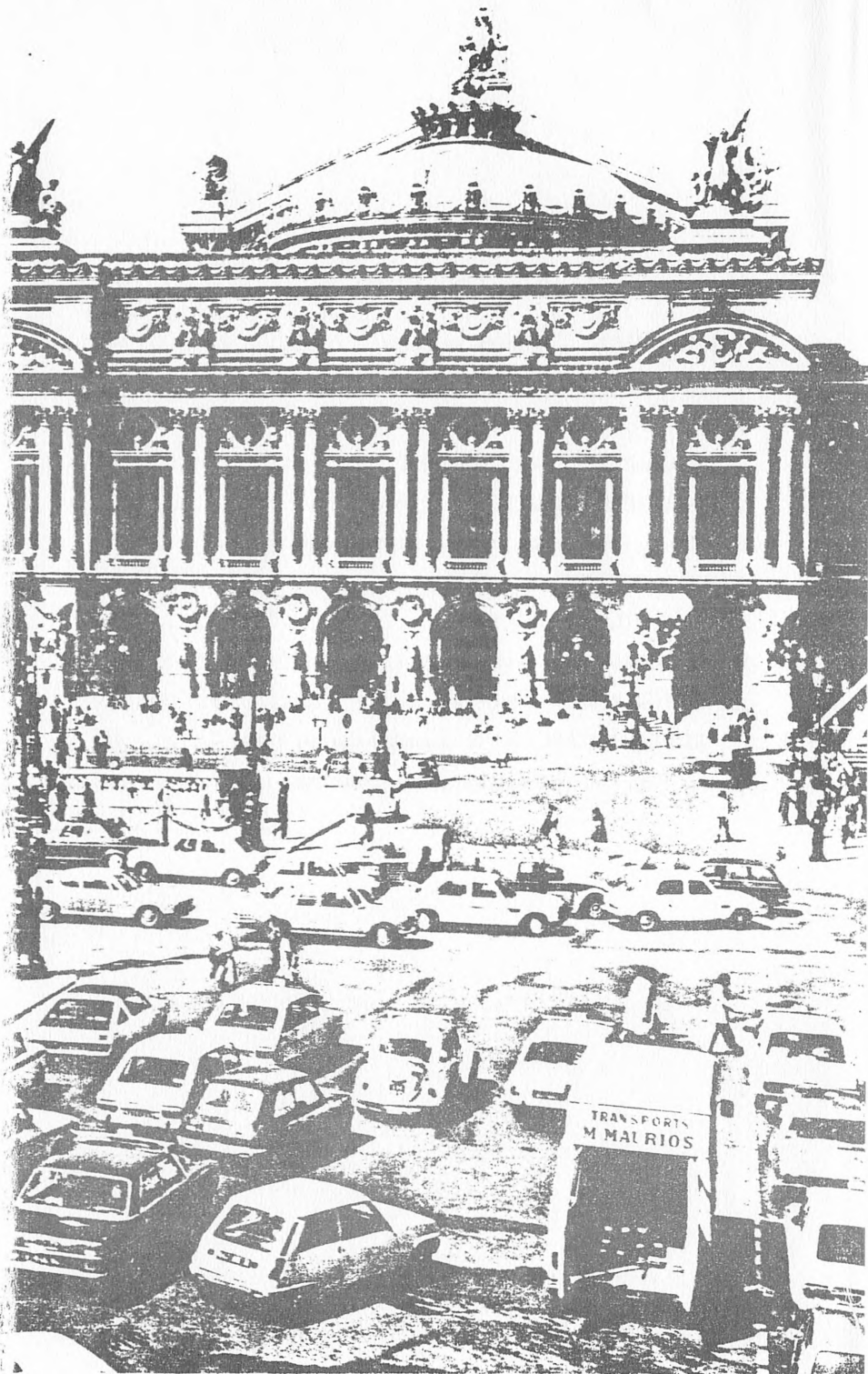
Праздное или нѣтъ — не знаю. Времена и сроки отъ насъ скрыты. Однако то, что происходитъ съ нами сейчасъ, можетъ быть, заставить насъ понять, что въ одиночествѣ — мы погибнемъ, вмѣстѣ — спасемся.

Встрѣча человѣка съ человѣкомъ? Нѣтъ — человѣчества съ Богомъ. Но только если мы, *ни при какихъ обстоятельствахъ*, не предадимъ человѣческаго начала, останемся вѣрны ему до конца. Большаго отъ насъ сейчасъ не требуется. Тогда, можетъ быть, удастся намъ освободить, адома плѣненную, человѣческую любовь, вернуть Богу то, что укралъ у Него дьяволъ.

В. ЗЛОБИНЪ

СОДЕРЖАНИЕ

З. ГИППУСЪ. — Опыт свободы	5
Г. АДАМОВИЧЪ. — О «Самомъ важномъ»	13
В. МАМЧЕНКО. — Движеніе любви	16
Ю. ФЕЛЬЗЕНЪ. — Перемѣны	22
Ю. МАНДЕЛЬШТАМЪ. — О любви	53
ДІОНЪ. — «Лошади ѣдятъ сѣно»	67
Л. КЕЛЬБЕРИНЪ. — Начало	69
Ю. ТЕРАПІАНО. — Жизнь	86
В. ЗЕНЗИНОВЪ. — Генріэта	91
Ю. ФЕЛЬЗЕНЪ. — Прописи	110
В. ЧЕРВИНСКАЯ. — В послѣднюю минуту	115
В. ЗЛОБИНЪ. — Человѣкъ въ наши дни	122





Ю. ФЕЛЬЗЕН

З. ГИППИУС

В. ЗЛОБИН

Ю. ТЕРАПИАНО

В. ЧЕРВИНСКАЯ

В. МАМЧЕНКО

ДИОН

Ю. МАДЕЛЬШТАМ

В. ЗЕНЗИНОВ

Л. КЕЛЬБЕРИН

Г. АДАМОВИЧ